

**На развилке дорог (Так была ли альтернатива 1929 году?)
Студенческий меридиан, №1, 1989 (начало)**

Владимир Попов, Николай Шмелев

Ст.М представляет: Николай Шмелев

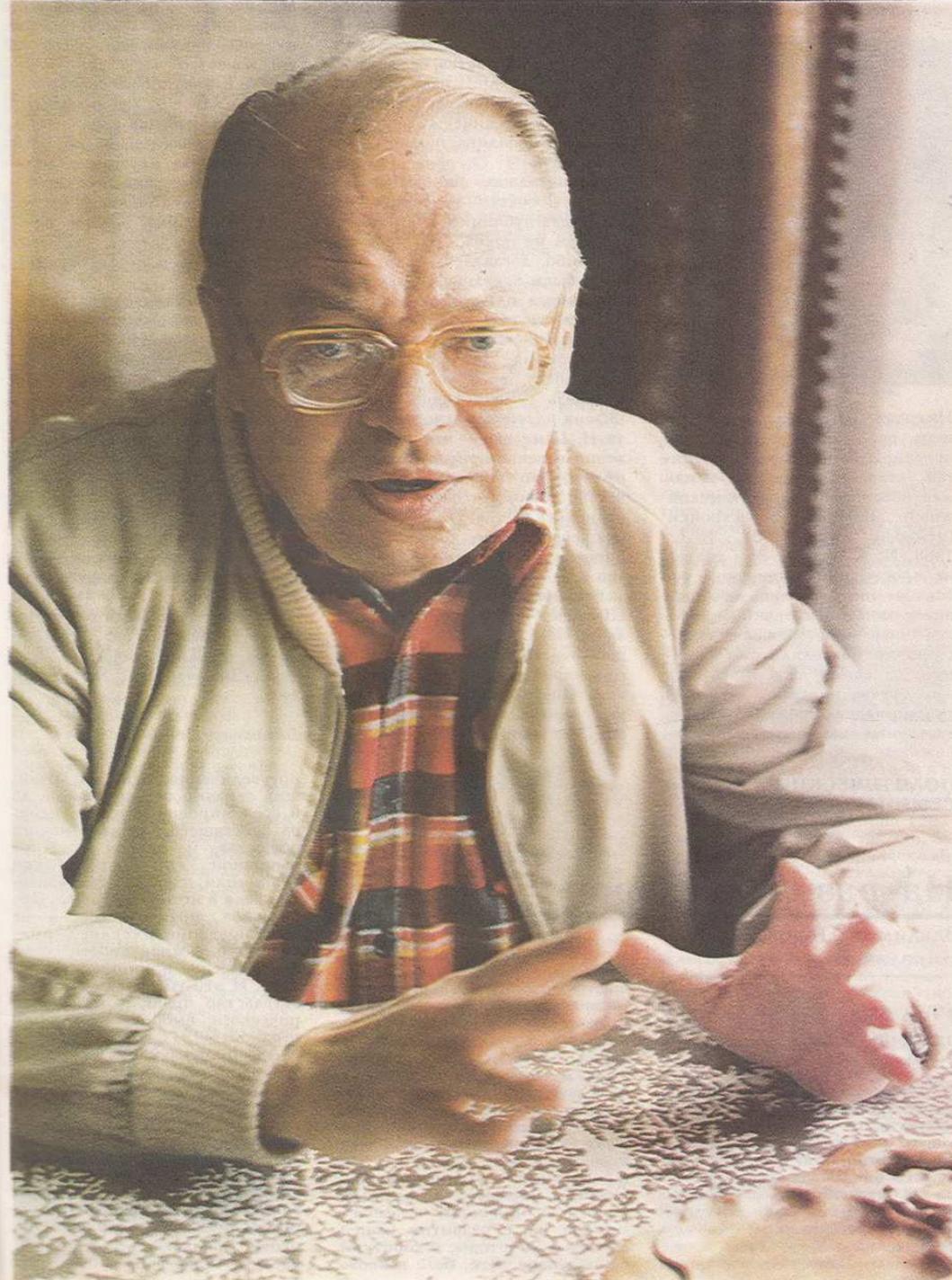


Фото С. Папина



Николая Шмелева знают теперь все — прежде всего как автора публицистических статей, ставших событием в нашей общественно-политической жизни периода перестройки («Новый мир», 1987, № 6; 1988, № 4, и др.). Эти статьи не просто имели широкий резонанс, они оказались откровением, заметно продвинули вперед наше национальное самосознание, позволили нам взглянуть на самих себя и на весь мир трезво и непредвзято, без традиционных розовых очков, заставили миллионы соотечест-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

На развилке дорог

Владимир Попов,
Николай Шмелев

(Так была ли альтернатива 1929 году?)

Были ли трагедии нашего недавнего прошлого неизбежным результатом всего предшествующего развития страны, более того, органическим следствием нашего национального характера и нашего образа жизни? Или же все-таки они были обусловлены несчастным стечением исторических обстоятельств и неправильно сделанным выбором,

венников ощутить всю драматичность положения, в котором оказалась страна.

Известен Н. Шмелев и как писатель, автор повестей и рассказов (они опубликованы в последние два года журналами «Знамя», «Юность», «Звезда», «Огонек» и др.; издательство «Советский писатель» готовит к выпуску его книгу «Спектакль в честь господина первого министра»).

Удивительно, но Шмелев-прозаик совсем не похож на Шмелева-публициста, до такой степени не похож, что вряд ли кто-либо догадался, если б в ходу были псевдонимы, что все это пишет один человек. Публицистика Н. Шмелева — страстная, наступательная, непримиримая, до предела злободневная; проза же, напротив, насквозь гуманистична и пронизана идеей терпимости. Проза Н. Шмелева — это размышления о вечном, непреходящем, о том, что волновало человечество сотни лет назад и будет волновать всегда. И как таковая она еще только должна быть оценена читателями и критиками.

Есть между тем еще и третий Шмелев — профессор, доктор экономических наук, заведующий отделом солидного научного учреждения — академического Института США и Канады, ученый, автор многих трудов по мировой экономике

(последняя книга — «Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия». М., 1987). В этом своем качестве Н. Шмелев, вероятно, не слишком знаком широкой читательской публике, но зато давно и хорошо известен всем специалистам — и как профессионал высокого класса, проанализировавший целый ряд новых мирохозяйственных тенденций, и как исследователь, неутомимо добивавшийся в течение двух последних десятилетий проведения тех реформ в нашей внешнеэкономической политике, которые сейчас наконец стали осуществляться.

Писательская судьба Н. Шмелева — не из легких. Как и многие из его поколения 50-х, того поколения, которое XX съезд партии застал на студенческой скамье и которое раз и навсегда определилось тогда в своем мировоззрении, он вынужден был долгое время, не имея возможности публиковаться, «писать в стол». Теперь, к счастью, все по-другому: его художественные произведения и экономические работы охотно публикуют советские и зарубежные издательства.

Сам он, что называется, в расцвете творческих сил, пишет и новые публицистические статьи («Знамя», 1989, № 1), прозу.

Владимир Попов

преувеличения, одна из ярчайших страниц отечественной, да и всей мировой истории, период блестящего развития нового общества и первой в мире рыночной социалистической экономики, своего рода «золотой век» в истории страны. Это реальное, практическое, а не книжно-теоретическое подтверждение жизнестойкости социалистических принципов и идеалов. И это убедительное доказательство правильности исторического выбора, сделанного страной в 1917 году.

Административная система, утвердившаяся в 1929 году и просуществовавшая у нас более полувека, никогда не знала такого быстрого и многогранного развития, каким был период 20-х годов.

Те, кто оправдывает до сих пор свертывание нэпа, указывают обычно на необходимость индустриализации страны. Они охотно признают, что отдельные частные «перегибы» были из-

которого могло бы и не быть? Этот вопрос охватывает, по существу, всю нашу жизнь в предвоенный период — и политику, и экономику, и социальные отношения, и культуру. Но нас в данной статье интересует прежде всего одно — экономическая система, которую страна получила в наследие от тех времен.

В гуманитарных исследованиях история, уроки прошлого играют, по сути, ту же роль, что и эксперимент в точных науках. Особый интерес по вполне понятным причинам вызывает сегодня опыт развития нашей страны в 20-е годы, в короткий период нэпа. Это, безо всякого

лишними и неоправданными, но защищают сам принцип внешнеэкономического принуждения, удушения рынка, жесткой централизации источников накопления и всей экономической жизни. Без разрыва с нэпом мы не смогли бы индустриализировать страну и выстоять в самой страшной в национальной истории войне — вот, пожалуй, самый распространенный и, по существу, единственный аргумент сторонников такой точки зрения.

«Был бы Сталин, не было бы Сталина, — у нас период чрезвычайного управления, я убежден, был необходим, — пишет об этом известный советский правовед Б. Курашвили. — Потому что нельзя было не осознать того, что осознал Сталин: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны преодолеть это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Сказано это было в феврале 1931 года! Магическое совпадение или предвидение?.. Конечно, можно спорить о том, что продолжение нэпа дало бы те же результаты, — этого мы не знаем. Известно другое: тридцатые годы создали наш военно-экономический потенциал. Для того чтобы такой потенциал создать, нужно было изымать средства из сельского хозяйства, перекачивать средства из гражданской промышленности в военную, из легкой промышленности в тяжелую. В условиях нэпа... такая перекачка средств была бы невозможна. Требовался неэквивалентный обмен между отраслями производства, а он мог осуществляться только принудительной силой государства. Так что, я думаю, нэп в течение десятилетия не успел бы дать тех результатов, которые дала чрезвычайная система управления¹. Схожие доводы приводятся и в статье И. Клямкина «Какая улица ведет к храму?», получившей такой широкий резонанс².

Конечно, хорошо бы, чтоб и волки были сыты, и овцы целы, говорят сторонники этой точки зрения, но в жизни так не бывает. За прогресс надо платить. И мудрость государственного руководства как раз в том и состоит, чтобы выбрать такой вариант развития, при котором издержки в сравнении с выгодами минимальны. Разве не был таим же тяжелым выбором, скажем, Брестский мир? Ленин, как известно, сравнивал этот мирный договор с решением отступающего полководца, отдаю-

щего врагу свою территорию, чтобы спасти армию, проигрывающему сражение, чтобы выиграть войну.

Точно так же и свертывание нэпа, форсированная коллективизация и индустриализация за счет сельского хозяйства, стоившие нам столь дорого, были тем не менее абсолютно якобы необходимы, чтобы избежать еще более страшных потерь. «Мы иногда говорим: тяжело, тяжело было в прошлом, — замечает по этому поводу Ю. Прокушев. — А что было бы, если бы не было Кузнецкого комбината, Магнитки? Мы бы все оказались в фашистском рабстве, в Майда-неке: и узбеки, и евреи, и русские»³.

На первый взгляд такие аргументы выглядят, возможно, убедительно. Исторический прогресс действительно всегда имел и имеет свою цену. К великому сожалению, человечество до сих пор не знает способа жить и развиваться без потерь. Социальные устройства со «сто-процентным коэффициентом полезного действия», то есть вообще без каких бы то ни было издержек, нам пока что неизвестны. Нравится нам это или нет, но всякая государственная власть, да и вообще всякая политика всегда сопоставляет, сравнивает, соизмеряет выгоды и издержки, затраты и результаты, непременно включая в эти широкие понятия и человеческие судьбы, и сами жизни множества людей.

Беспорно также и то, что перспектива национальной гибели не устраивала никого, что победа в войне действительно была самым высшим приоритетом и нужна была нам любой ценой, что, следовательно, Кузнецкий комбинат и Магнитку нельзя было не строить. Но вопрос, однако, в том, что породило 1929 год: внешние или внутренние факторы, угроза тогда еще далекой войны или что-то другое, что к внешнему миру не имело прямого отношения? Вопрос в том, были ли факторы, породившие 1929 год, объективными или субъективными, был ли «великий перелом» фатально предопределен или все могло сложиться иначе? Если могло, то куда вела та дорога, с которой мы свернули в 1929 году? И куда нас завел фактически избранный путь — в социализм или еще куда-то? Чьи политические интересы выражал режим, установившийся в 30-е годы? После всего, что написано в последние годы, язык как-то не поворачивается сказать: ра-

бочего класса и всех трудящихся. Но тогда чьи? Все это вопросы, широко обсуждаемые сейчас в печати, вопросы, закономерно поставленные самой жизнью, логикой развития перестройки.

Многие наши ученые и публицисты, в частности Ю. Афанасьев, О. Лацис, В. Селюнин и др., уже высказались в печати в том духе, что «великий перелом» вовсе не был неизбежен и предreshen, что была альтернатива, был другой путь, не сопряженный с трагическими потерями и жертвами, что решающую роль в историческом повороте конца 20-х годов сыграли именно внутренние, а не внешние факторы⁴. Авторы настоящей статьи разделяют такую точку зрения и хотели бы высказать некоторые дополнительные соображения на этот счет.

Немного статистики

Принципиальные оценки итогов экономического развития в отдельные периоды (и, конечно, выводы, делаемые на основе таких оценок) сильно зависят от того, какими статистическими данными пользоваться. Скажем сразу: на официальные данные полагаться нельзя, поскольку они сильно приукрашивают общую картину. В частности, высокие темпы прироста промышленного производства и всей экономики в 30-е годы, после свертывания нэпа, — это целиком и полностью статистическая фикция, иллюзия, созданная существовавшей тогда практикой статистического учета. Механика такого рода искажений описана и в специальной и в публицистической литературе, в частности в известной статье В. Селюнина и Г. Ханина (Новый мир, 1987, № 2), так что, не утомляя читателя техническими подробностями, остановимся только на самых ключевых моментах, чтобы сразу перейти к результатам.

Любой анализ нашего прошлого на основе данной официальной статистики будет ложным анализом. Достаточно беглого знакомства с ежегодно публикуемыми Госкомстатом «синими книжками» (красными — в юбилейном исполнении), чтобы понять, что экономики с такими параметрами развития (если допустить, что

¹ Огонек, 1988, № 12, с. 5, 18.
² Новый мир, 1987, № 11, с. 180—181.

³ Огонек, 1988, № 16, с. 27.

⁴ Афанасьев Ю. Н. Перестройка и историческое знание. — Литературная Россия, 1988, 17 июня; Лацис О. Перелом. — Знамя, 1988, № 6; Селюнин В. Истоки. — Новый мир, 1988, № 5.

все цифры верны) не может быть в природе ни при каких обстоятельствах. И дело не только в том, что всего за шесть десятилетий (1928—1987 гг.) реальный национальный доход увеличился более чем в 90 раз, валовая промышленная продукция почти в 180 раз, капиталовложения почти в 250 (!) раз — другие страны затрачивают на такое наращивание экономического потенциала не десятилетия, а века. Дело еще и в том, что различные показатели абсолютно не стыкуются между собой.

В самом деле, как, например, может быть, что реальный национальный доход вырос за рассматриваемый период в 90 раз, а физический объем розничного товарооборота — только в 30 раз, то есть в 3 раза меньше? Такое соотношение может выдерживаться в течение одного-двух, от силы — десяти лет. Но если десятилетиями реальный национальный доход растет *втрое* быстрее реального розничного товарооборота, значит, доля потребительских расходов на товары и услуги в национальном доходе катастрофически падает. В 1987 году розничный товарооборот составил более 50% национального дохода. Простая арифметика показывает, что в таком случае, в соответствии с данными Госкомстата, в 1928 году розничный товарооборот должен был почти вдвое превышать национальный доход. Такого просто не бывает!

Как вообще определяются темпы экономического роста, скажем, темпы роста промышленного производства? Принятая во всем мире практика такова: сначала сравнивают объемы производства в нынешнем и исходном году в *стоимостном* выражении, в текущих ценах (иначе невозможно сопоставить разнородные продукты), а затем делают поправку на рост цен. Например, так: стоимость промышленной продукции выросла за 10 лет в текущих (действующих) ценах в 6 раз, а цены за этот же период поднялись в среднем в 3 раза; следовательно, *физический объем продукции* возрос в 2 раза ($6:3=2$) и промышленное производство увеличилось за 10 лет в реальном исчислении на 100%.

До 1925 года статистика в СССР исчисляла физические объемы производства именно так: объем выпуска в текущих ценах корректировался по предварительно рассчитанным индексам цен. Динамика оптовых и розничных цен по различным товарным группам, городам и районам страны фиксировалась конъюнктурным институтом при Наркомате финансов, Цент-

ральным советом профсоюзов, ВСНХ, Госпланом, что давало обширную и разностороннюю информацию для расчета реальных показателей. Но с 1925 года положение стало меняться: индексы физического объема выпуска фактически начали исчислять в текущих оптовых ценах, что было грубейшим нарушением элементарных принципов статистического учета.

До 1929 года общий уровень цен и на промышленные и на сельскохозяйственные товары оставался более или менее стабильным, так что крупных искажений в статистических данных о движении реальных показателей не возникло. Но когда в 1929 году начался бурный рост цен, исчисление реальных показателей в текущих ценах на деле превратило статистику в источник дезинформации. В этом сходятся сейчас практически все серьезные экономисты.

Справочники ЦСУ сообщают, что исчисление темпов реального роста национального дохода, промышленной и сельскохозяйственной продукции до начала 50-х годов производилось с использованием неизменных цен 1926/27 года. Но поскольку индексы оптовых цен не рассчитывались, все *новые виды продукции*, появившиеся после 1926/27 года (а их было большинство), учитывались на самом деле лишь в текущих ценах. Больше того, и для сопоставимых с периодом 20-х годов видов продукции принцип неизменных цен не всегда соблюдался. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что даже для отраслей со слабо меняющейся номенклатурой выпуска наблюдаются значительные расхождения в динамике натуральных показателей и стоимостных. Скажем, в 1928—1940 годах выработка электроэнергии увеличилась в киловатт-часах менее чем в 10 раз, а продукция электроэнергетики в неизменных ценах — более чем в 14 раз; выпуск чугуна, стали, проката в тоннах — в 3,8—4,5 раза, а продукция черной металлургии (в неизменных ценах) — в 6,2 раза⁵. Даже любому неспециалисту понятно, что источник этого превышения мог быть только один — воздух.

Меньше всего сомнений вызывают официальные данные, касающиеся темпов роста производства и оптовых цен в сельском хозяйстве. Это связано, с одной стороны, с тем, что заго-

товительные и закупочные (оптовые) цены на основные продовольственные сельскохозяйственные продукты долгое время — до начала 50-х годов — оставались на уровне второй половины 20-х годов, и, таким образом, статистические ошибки, проистекающие из порочной практики учета физического объема продукции в текущих, инфляционных ценах, здесь были наименьшими. С другой стороны, индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию, который стали рассчитывать с конца 50-х годов, лучше, чем другие индексы оптовых цен, отражал действительную ценовую динамику (в 1958—1988 гг. оптовые цены выросли здесь в 2,5 раза, тогда как в промышленности, судя по индексу, в этот период произошло даже снижение оптовых цен), вследствие чего в сельском хозяйстве статистика меньше, чем в других отраслях, завывала подлинными показателями реального роста. Что же касается промышленности и других крупных отраслей, то очевидно, что здесь расхождения официальных данных с реальностью настолько велики, что ими пользоваться просто нельзя.

Официальная статистика, например, дает следующие данные: в 1921—1928 годах среднегодовые темпы прироста национального дохода составили 18%, промышленного производства — 23%, сельскохозяйственного производства — 11%. В период первых пятилеток, в 1928—1940 годах, эти показатели снизились до 15, 17 и 1% соответственно. Получается, что только в сельском хозяйстве снижение темпов прироста было очень значительным (с 11 до 1%), тогда как в промышленности (с 23 до 17%) и в целом по экономике (с 18 до 15%) оно было вроде бы малозаметным. Но официальные данные по 1928—1940 годам, как мы уже говорили, полностью включают в себя практически по всей обрабатывающей промышленности и частично по сырьевым отраслям инфляционный компонент, то есть рост текущих оптовых цен. А они повысились в этот период как минимум в 2—3 раза.

Расчеты В. Селюнина и Г. Ханина свидетельствуют о том, что темпы прироста национального дохода в период первых пятилеток составили всего 3—4%, то есть снизились в сравнении с периодом нэпа в 5—6 раз⁶. Оценки Б. Болотина показывают, что среднегодовые темпы прироста промышленного производства в 1929—1938 годах составили 9% (против 26% в 1920—1929 гг.), сельскохозяйственного — 1% (против 7%),

⁵ Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 34; Народное хозяйство СССР в 1958 году. М., 1959, с. 188—215.

национального дохода — 8% (против 14%)⁷.

Эти расчеты, конечно, не дают ювелирной точности. Нужные для них данные крайне скудны, вследствие чего приходится прибегать к довольно громоздким статистическим процедурам. Можно сейчас спорить о том, насколько именно упали темпы реального роста после свертывания нэпа. Но одно несомненно — их падение, вопреки тому, что показывает официальная статистика, было и резким, и значительным во всех крупных отраслях народного хозяйства. В сельском хозяйстве с началом коллективизации производство стало падать и сокращалось пять лет подряд; уровень 1928 года был достигнут только в конце 30-х годов. В промышленности темпы реального прироста производства оставались в период первых пятилеток на довольно высоком абсолютном уровне (порядка 9%), но все-таки были как минимум в 2—3 раза ниже, чем в период нэпа, и, что особенно важно, много ниже, чем в последние годы нэпа, когда производство уже не восстанавливалось, а расширялось.

Это заключение имеет принципиальное значение. Оно противоречит данным официальной статистики, показывающей довольно небольшое снижение темпов роста по всей экономике (национальный доход) и по промышленности — снижение, которое вполне может быть «оправдано» переходом от восстановления к расширению производства в 1926 году. На самом же деле падение темпов роста было именно резким и именно значительным не только по сравнению с восстановительным периодом (1921—1925 гг.), но и по сравнению с недолгим периодом расширения производства в условиях нэпа (1926/27—1928 гг.). В 1927 и 1928 годах, когда промышленное производство уже превысило уровень 1913 года, темпы его прироста составили 13 и 19% соответственно, что заметно выше даже самой высокой альтернативной оценки для периода 1929—1938 годов.

А вот данные по производству отдельных видов продукции в

⁶ Селюнин В., Ханнин Г. Лукавая цифра. — Новый мир, 1987, № 2, с. 181—201; Селюнин В. Истоки. — Новый мир, 1988, № 5, с. 176—177. См. также статьи Г. Ханина в журнале «Известия АН СССР. сер. экономическая», 1981, № 6, с. 62—73; 1984, № 3, с. 58—67.

⁷ Мировая экономика и международные отношения, 1987, № 11, с. 145—157.

натуральном выражении, относящиеся к тому периоду роста, когда соответствующие отрасли уже превзошли свой максимальный дореволюционный уровень производства и, следовательно, не имели больших свободных, незагруженных мощностей: добыча нефти в 1927—1928 годах увеличилась в среднем на 18% в год (против 9% в 1929—1940 гг.), производство электроэнергии в 1925—1928 годах росло среднегодовым темпом 34% (против 21% в 1929—1940 гг.), выпуск тракторов, которые вообще не производились в дореволюционной России, расширился в 1926—1928 годах на 65% ежегодно (против 35% в 1929—1940 гг.), производство цемента в 1927—1928 годах — на 15% (против 10% в 1929—1940 гг.)⁸.

При этом надо иметь в виду, что свертывание нэпа сопровождалось крутым перераспределением национального дохода в пользу фонда накопления. Отношение валовых капиталовложений к национальному доходу, составившие 27% в 1924—1928 годах, поднялось до 38% в годы первой пятилетки и оставалось на уровне 30—35% до начала войны⁹. Увеличение накопления при прочих равных условиях должно, обязательно было бы вызвать пропорциональное ускорение хозяйственного развития. Но в том-то все и дело, что *прочих равных условий* уже не было. Утверждение административной системы управления экономикой повлекло за собой громадное снижение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, резкое падение эффективности накопления. Относительно упавшие, но абсолютно все еще высокие показатели роста в промышленности достигались, иначе говоря, только ценой невероятного и неоправданного увеличения затрат.

Вывод из сказанного очевиден: потенциал рыночной нэповской экономики был очень высок, но он был раздавлен и разрушен экспансией командной экономики, вследствие чего темпы роста круто пошли вниз. Создание крупной промышленности в короткие сроки в нашей стране в 30-е годы произошло не благодаря утверждению административной системы и жесткой централизации хозяйственного управления, но *вопреки* этим процессам, вопреки обще-

⁸ Народное хозяйство СССР в 1958 году. М., 1959, с. 188—329.

⁹ Мировая экономика и международные отношения, 1987, № 11, с. 147.

ЕСТЬ МНЕНИЕ



А как иначе?

Еще свежи школьные воспоминания. Урок истории — Октябрьское вооруженное восстание. И мы разучиваем ход событий буквально по минутам. Как будто представляли о том, когда точно выстрелила «Аврора», или знание того факта, что в 22.30 Антонов-Овсеев находился в Петропавловке, в состоянии помочь уяснить всю сложность того времени.

Далеко ли мы ушли от подобных методов — и в вузе в том числе? Да и вообще, как теперь быть с историей, как подходить к изучению материала, который сегодня вызывает столько споров, дискуссий? Еще вчера мы уверенно твердили по учебнику: Бухарин — нехороший, Зиновьев — тоже нехороший, коллективизация спасла от голода...

Слух прошел, что объявился преподаватель, у которого студенты пишут рефераты примерно по таким темам: «Правосудие — власть закона, а не людей», «Бухаринская альтернатива», «Неформалы». И будто бы на занятиях они не особенно заглядывают в учебник, зато очень внимательно изучают первоисточники, а также последние работы Шмелева, Лациса, Селюнина, Нуйкина — с обсуждения периодики начинается каждое занятие... А может быть, сейчас иначе и нельзя?

Лидия Радыгина, студентка

му снижению темпов роста и стагнации сельского хозяйства, вопреки резкому падению эффективности накопления.

Сохранись тогда нэп, мы имели бы без надрыва и сверхчеловеческого напряжения не меньше, а больше, существенно больше стали, нефти, станков и тракторов, а в случае нужды — и танков. Сохранись нэп, и мы естественным порядком имели бы больше, а не меньше таких предприятий, как Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Уралмашзавод, Челябинский тракторный и Горьковский автомобильный заводы, Днепрогэс и т. д. Сохранись нэп, и мы бы, вне всякого сомнения, смогли бы превзойти фашистскую Германию по выпуску танков, самолетов и артиллерийских стволов не в 1943 году (как это действительно было), а значительно раньше.

«Секрет» успеха

По любым историческим меркам 20-е годы были и остаются до сих пор периодом самого полнокровного экономического развития. Никогда — ни до, ни после — советская экономика не развивалась так успешно, как во времена нэпа. К 1928 году национальный доход на душу населения возрос на 10% в сравнении с 1913 годом, что, между прочим, даже превышало увеличение аналогичного показателя в США, экономика которых не пострадала в этот период от войн. Страна вставала из руин и обновлялась, каждый день приносил что-то новое, люди чувствовали реальные перемены к лучшему, обрели уверенность в будущем и с надеждой смотрели в будущее.

Но, пожалуй, исторически самым важным итогом нэпа стало то, что впечатляющие хозяйственные успехи были достигнуты на основе принципиально новых, неизвестных дотоле истории общественных отношений. Бурно росла именно социалистическая по своей природе экономика, в которой частнокапиталистический сектор хоть и существовал, но не играл решающей роли.

В промышленности на долю частного сектора приходилось около 1/4 выпуска продукции; на долю концессионных предприятий (сданных в аренду иностранцам) в 1926—1927 годах приходилось чуть более 1% продукции. Еще 13% промышленной продукции давали кооператоры. А все остальное промышленное производство, в основном крупное, было сосредоточено в руках нескольких сотен трестов — полностью хозрасчетных объединений однородных

или взаимосвязанных между собой предприятий, обладавших широкой самостоятельностью вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. Тресты, в свою очередь, объединялись на добровольных началах в синдикаты (23 к началу 1928 г.), занимавшиеся снабжением, сбытом, кредитованием, внешнеторговыми операциями.

В сельском хозяйстве ключевой фигурой был середняк, уплачивавший продналог (сначала 20% урожая в натуре, а затем 10% — деньгами)¹⁰ и сбывавший продукцию по своему усмотрению либо государственными заготовителям, либо на рынке. Роль производственных кооперативов в сельском хозяйстве была незначительна (несколько процентов), зато простейшими первичными формами — сбытовой, снабженческой и кредитной кооперацией — было охвачено к концу 20-х годов более половины всех крестьянских хозяйств.

Транспорт, строительство, связь — все это находилось в руках государства. В розничной торговле доля частного составляла 40—80%, в общественой розничной торговле 60—80% оборота приходилось на кооперативную и только 20—40% на государственную торговлю. В оптовой торговле роль частного была очень невелика.

В обращении находился червонец, свободно обмениваемый на золото и иностранную валюту на валютном рынке как внутри страны, так и за границей (1 червонец = 7,74 г чистого золота = 5,15 доллара). На кредитном рынке действовали конкурирующие между собой акционерные и кооперативные банки, общества сельскохозяйственного кредита, сберегательные кассы и общества взаимного кредита. На 1 октября 1926 года число самостоятельных банков составило 61, а доля Госбанка в кредитовании народного хозяйства была только около 48%¹¹. Был развит и коммерческий кредит для предприятий другим, запрещенный затем в ходе кредитной реформы 1930—1932 годов.

В промышленности и других отраслях была восстановлена денежная оплата труда, введены тарифы зарплаты, исключавшие уравниловку, и сняты ограничения для увеличения зарплат при росте выработки.

¹⁰ Амбарцумов Е. Вверх, к вершине. М., 1974, с. 140.

¹¹ Денежно-кредитная система СССР/Под ред. А. А. Посконова. М., 1967, с. 303—304.

Были ликвидированы трудовые армии, отменены обязательная трудовая повинность и основные ограничения на перемещение места работы. Организация труда, таким образом, строилась на принципах материального стимулирования, пришедших на смену внеэкономическому принуждению периода «военного коммунизма». Абсолютная численность безработных, зарегистрированных биржами труда, в период нэпа возросла (с 1,2 млн. человек в начале 1924 г. до 1,7 млн. в начале 1929 г.), но расширение рынка труда было еще более значительным: численность рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства, исключая самостоятельных крестьян-единоличников, практически не выходявших на рынок труда, увеличилась с 8,5 млн. человек в 1924/25 до 12,4 млн. в 1929 году, так что фактически уровень безработицы несколько снизился¹².

Как, каким образом могла столь разнородная нэповская экономика развиваться так быстро и так успешно? Почему в последующем переход к жесткому директивному планированию повлек за собой столь резкое снижение темпов роста? Ответ заключен в самом вопросе: «секрет» успеха состоял в том, что основным, доминирующим принципом организации многообразных взаимосвязей между хозяйственными агентами был рынок, рыночная самонастройка, тогда как государство только корректировало, подправляло действие рыночных механизмов. Связанные между собой через рынок и регулируемые государством ячейки социалистической экономики обнаружили способность к согласованному взаимодействию и сбалансированному стабильному развитию. *Впервые в истории была доказана принципиальная возможность успешного экономического прогресса общества, построенного на коллективистских началах и использующего в качестве основного мотора и регулятора роста контролируемый государством механизм рыночной самонастройки.*

До сих пор у нас распространено мнение, что нэп был главным образом только отступлением, вынужденным отходом от социалистических принципов хозяйственной организации, только своего рода маневром, призванным дать возможность реорганизовать боевые порядки, подтянуть тылы, восстановить

¹² Амбарцумов Е. Указ. соч., с. 162; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 11.

хозяйство и затем вновь ринуться в наступление. Споры нет, в новой экономической политике действительно были элементы отступления. Частные фабрики и торговые фирмы, в которых используется наемный труд, но все решения принимаются одним собственником (или группой акционеров, владеющих контрольным пакетом акций), — это не социализм, хотя, кстати сказать, их существование в известных пределах при социализме вполне допустимо и неопасно. В теории не были полностью социалистическими и мелкие крестьянские хозяйства, и мелкие предприниматели в городах, хотя они-то уж определенно не противопоказаны социализму, ибо по природе своей не являются капиталистическими и могут безболезненно, без всякого насилия влиться в социализм через добровольную кооперацию.

Но разве можно сказать, что несоциалистическими были тресты и синдикаты, деятельность которых направлялась государством через регулирование цен и распределение дотаций? Разве не было социалистическим массовое кооперативное движение — производственные кооперативы в промышленности и торговле, сбытовая, снабженческая и кредитная кооперация в сельском хозяйстве? Ответ очевиден: государственные предприятия и тресты, синдикаты и кооперативы были, возможно, не идеальными, но явно социалистическими, общественными формами организации производства. Да, Ленин действительно не раз называл нэп отступлением по отношению к периоду «военного коммунизма». Но он не считал, что это отступление по всем направлениям и во всех сферах. Уже после перехода к нэпу Ленин неоднократно подчеркивал вынужденный, чрезвычайный характер политики «военного коммунизма». «В условиях неслыханных экономических трудностей, — писал Ленин, — нам пришлось проделать войну с неприятелем, превышающим наши силы в сто раз; понятно, что пришлось при этом идти далеко в области экстренных коммунистических мер, дальше, чем нужно; нас к этому заставляли»¹³. «Военный коммунизм, — констатировал он в другом месте, — был вынужденной войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой»¹⁴.

¹³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 9—10.

¹⁴ Там же, т. 43, с. 220.

И, называя нэп отступлением, Ленин имел в виду прежде всего и главным образом масштабы частного предпринимательства; он никогда и нигде не относил термин «отступление» на счет трестов или кооперации. Напротив, если в более ранних работах Ленин и характеризовал социализм как общество с нетоварной организацией, то после перехода к нэпу он уже явно рассматривает хозрасчетные тресты, связанные между собой через рынок, как социалистическую, а не переходную к социализму форму хозяйствования.

То же с кооперацией. Еще в 1921 году в статье «О продналоге» Ленин квалифицировал кооперацию как форму *перехода* от мелкоотоварного к социалистическому производству. Но в другой статье — «О кооперации» — одной из последних последних, известных сейчас как ленинское политическое завещание, он прямо говорит о кооперации как о главной социалистической форме производства: «...раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас, действительно, задачей осталось только кооперирование населения. При условии максимального кооперирования населения само собой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и т. д. ...нам осталось «только» одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. «Только» это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму»¹⁵.

Эти слова были надиктованы Лениным в начале 1923 года, когда уже был осуществлен практический поворот к нэпу и завершилось в основном трестирование и синдицирование промышленности. Впереди были еще шесть лет нэпа, шесть лет развития по пути, предсказанному Лениным, по пути добровольного массового кооперирования населения. Ленин считал, что для такого кооперирования, тождественного с ростом социализма, «требуется целая историческая эпоха». Но впереди была не эпоха, впереди было только

¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 369, 372.

ЕСТЬ МНЕНИЕ



Засядем за английский?

Даже если просмотреть «неспециальную» периодику, создается впечатление, что мы сильно отстаем в технологиях целого ряда приоритетных научно-технических отраслей, и подобная ситуация просто вынуждает нас к «быстрому реагированию». Прецеденты такого «быстрого реагирования» есть — вспомним хотя бы американскую программу «Мерит».

Они из каждого старшего класса всех школ отбирали четырех наиболее толковых ребят, ежегодно их насчитывалось до 600 тысяч. Из этой огромной армии потенциально способных после усложненных тестов оставалось 35 тысяч — им обеспечивались льготы, стипендии, места в лучших колледжах. Критерий отбора прост — умение нестандартно мыслить, природная талантливость. Да, те 35 тысяч оказывались в элитарных условиях. Но зато результат — прорыв в технологиях.

Мы слишком долго сопротивлялись самому понятию — элитарное образование и теперь имеем целую армию средних, серых специалистов, а все талантливое, неординарное, что у нас есть, — это самоучки по сути... Да пусть они будут — сугубо элитарные вузы. Пусть будут специальные программы по «отлову» талантливых ребят, которые научатся мыслить широко и перспективно.

Сергей Толмачев, студент

шесть лет. История на этот раз распорядилась по-своему. В 30-е годы директивный, всеохватывающий план лег на экономику тяжелым бременем, подавил ее потенциальные способности к росту и создал многочисленные и глубокие диспропорции, закономерно повлекшие за собой огромные потери и падение эффективности.

Командная экономика

Это было в августе 1942 года, в тяжелейший период второй мировой войны, когда немцы в результате летнего наступления разгромили наши войска под Харьковом, овладели Севастополем и вышли к Волге в районе Сталинграда. Линия фронта проходила всего в 200 километрах от Москвы. Шли бои на Северном Кавказе — после неудачи в 1941 году под Москвой Гитлер на этот раз рассчитывал до зимы захватить кавказские нефтяные центры — Баку, Майкоп, Грозный, дававшие 95% всей нефти, то есть топлива для танков, самолетов, военных кораблей. Союзники гадали, сможет ли Советская Армия удержать до зимы Кавказ: если нет, шансы на победу СССР в этой войне казались очень небольшими.

Английский премьер У. Черчилль прилетел в это время в Москву для переговоров о все еще не открытом втором фронте. На обеде в кремлевской квартире Сталина Черчилль, перебив тему разговора, завел речь о коллективизации. Вот что он пишет об этом в своих мемуарах:

«— Скажите мне, — спросил я, — на вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации?»

Эта тема сейчас же ожила маршала.

— Ну нет, — сказал он, — политика коллективизации была страшной борьбой.

— Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой, — сказал я, — ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей.

— С 10 миллионами, — сказал он, подняв руки. — Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами...»¹⁶

Чтобы быть точным, надо сказать, что Россия была очень

близка к тому, чтобы избавиться от периодических голодовок даже и без тракторов в конце 20-х годов, накануне коллективизации, до того, как был свергнут нэп. Но после создания колхозов, несмотря на то, что землю пахали тракторами, голодовки продолжались вплоть до начала 50-х годов. Здесь, однако, более важно другое: даже тяжелейшую в нашей истории войну в один из самых критических ее периодов Сталин не считал такой же «страшной борьбой», какой была коллективизация.

Начавшееся в 1929 году создание колхозов действительно стало переломным рубежом, разделившим два периода нашей истории. «Великим переломом», «революцией сверху» называл впоследствии коллективизацию Сталин. Через 1929 год проходит водораздел между нэповской, рыночной, хозрасчетной экономикой и административной системой.

Сталин «принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием» — эти слова тоже принадлежат У. Черчиллю, и в них зафиксирован очевидный факт, оспаривать который невозможно. Историческая правда состоит в том, что тяжелая индустрия действительно шла вперед быстрыми темпами. В предельно сжатые сроки — чуть больше чем за 10 лет — Советский Союз превратился из отсталой, аграрной в мощную, индустриальную страну. Данные о динамике объема промышленного производства в целом, как уже говорилось, ненадежны, но вот каково было увеличение объемов производства отдельных видов продукции в натуре: добыча угля возросла в 1928—1940 годах почти в 5 раз, нефти — почти в 3 раза, производство электроэнергии — почти в 10 раз, минеральных удобрений — почти в 3 раза, автомашин, тракторов, комбайнов, станков и машин разного рода — в десятки и сотни раз.

В 1913 году Россия занимала 5-е место в мире по величине экономического потенциала (после США, Германии, Великобритании и Франции); к концу 30-х годов Советский Союз вышел на второе место по объему национального дохода, почти догнал Францию по объему промышленного производства и существенно сократил разрыв с США, Германией, Великобританией.

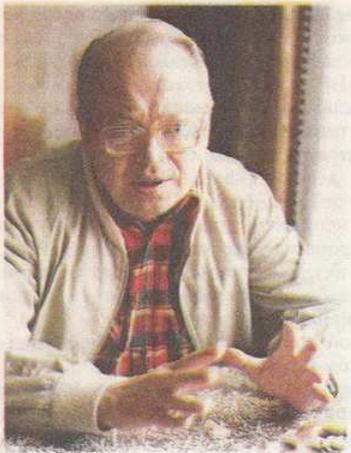
В тридцатые годы в необжитых районах страны поднялись сотни новых городов, вступили в строй тысячи новых заводов. В городах царил обстановку массового трудового энтузиазма, миллионы людей чувствовали себя первопроходцами, вос-

принимали успехи и заботы страны как свои собственные, были воодушевлены сознанием солидарности к судьбам страны и жизни планеты. Миллионы людей не по приказу и не по команде, а сознательно поступались самым необходимым, шли на жертвы во имя будущего, ибо верили, что эти жертвы необходимы, что, жертвуя, именно они сегодня творят историю и строят новый мир.

Но есть и другая сторона этой исторической правды: сверхцентрализация и принудительная мобилизация ресурсов на накопление в 30-е годы были оплачены неимоверно дорогой ценой. И думается, нам никуда не уйти от признания трагического факта нашей недавней истории: эта цена не стояла ни в каком соответствии с теми результатами, которые благодаря ей удалось получить. Мы говорим не только о многих миллионах погубленных зазря людей. Мы говорим о, быть может, менее эмоциональных, но не менее страшных вещах: о разрушенных производительных силах, о загубленных попусту ресурсах, о потерянном для страны времени, о разочаровании многомиллионных народных масс, чья жизнь ушла на то, чтобы оплатить потом своим и кровью амбиции кучки безграмотных и безнравственных людей, узурпировавших власть.

В промышленности развитие шло быстро, но только потому, что затраты, вовлекаемые в оборот ресурсы росли здесь быстрее, чем где-либо. В 1924—1928 годах, в тот период нэпа, когда промышленное производство уже в основном расширялось (а не восстанавливалось), численность занятых в промышленности увеличивалась примерно на 10% ежегодно, а объем выпуска продукции — на 30%, то есть производительность труда повышалась грубым счетом на 20% в год. В 1928—1940 годах занятость в промышленности по-прежнему росла примерно на 10% в год, но темпы прироста продукции резко снизились — до 9—10%, то есть производительность труда, повышалась крайне медленно, если она повышалась вообще. И это — при стремительном росте капиталовложений и основных фондов, при огромных закупках новейшей техники и целых заводов за рубежом, при том, что в промышленности и на стройках работали квалифицированные иностранные специалисты, при массовом трудовом героизме, сверхурочных субботах, стахановском движении!

¹⁶ Черчилль У. Вторая мировая война, т. IV. М., 1965, с. 493.



Продолжение. Начало на стр. 26

В сельском хозяйстве создание колхозов обернулось трагедией для многих миллионов жителей. В 1928 году Сталин неожиданно объявил, что кулаками являются 5% всех крестьян (1,2 млн. крестьянских хозяйств и 6,2 млн. тогдашнего сельского населения), причем 2—3% из них (500—700 тыс. крестьянских дворов) — особенно зажиточные, подлежащие индивидуальному налогообложению. Обследование 1927 года, к слову сказать, выявило, что только 3,2% крестьянских хозяйств являются кулацкими¹⁷. Но в ходе коллективизации даже эти явно выдуманные Сталиным цифры были перекрыты как минимум вдвое. По расчетам академика ВАСХНИЛ В. Тихонова, фактически было ликвидировано не менее 3 млн. крестьянских хозяйств, то есть 11—12% всех дворов. Иными словами, значительно более 10 млн. деревенских жителей подверглось репрессиям: были высланы, направлены в лагеря, уничтожены физически, умерли от голода.

Объем производства в сельском хозяйстве в первой пятилетке, когда проводилась коллективизация, упал на 20% и восстановился только к началу 40-х годов. Огромный урон был нанесен основным фондам аграрного сектора, ибо единоличники не желали передавать свое имущество колхозам. Так, установка на полное обобществление скота привела к тому, что его попросту вырезали — поголовье крупного рогатого скота сократилось с 1928 по 1933—1934 год почти вдвое (с 60 до 33 млн. голов), лошадей и свиней более чем вдвое (с 22 до

10 млн. и с 33 до 15 млн. голов соответственно), овец и коз — втрое (с 97 до 33 и с 10 до 3 млн. голов соответственно)¹⁸. Никогда — ни во время первой мировой войны, ни в годы революции и гражданской войны, ни во время Великой Отечественной войны — поголовье скота в стране не сокращалось так значительно.

Из сельского хозяйства систематически и безвозмездно изымалась значительная часть создаваемого там продукта. Четверть века, с 1929 по 1953 год, деревня фактически жила на грани голодной смерти. И финансировала индустриализацию, войну и послевоенное восстановление именно деревня, финансировала прежде всего через ножницы заготовительных и розничных цен на сельхозпродукты.

До 1953 года заготовительные цены на основные продовольственные продукты, поставляемые сельским хозяйством, изменялись очень незначительно. Скажем, зерно все эти 25 лет заготавливалось по цене конца 20-х годов — примерно 80 коп. за центнер (в нынешнем масштабе цен). Между тем розничные цены поднимались все выше и выше: индекс розничных цен даже не рыночной, а государственной и кооперативной торговли, если принять их уровень 1928 года за единицу, составил в 1932 году — 2,6, в 1940 году — 6,4, в 1950 году — 11,9. В 1947 году этот индекс поднялся даже до отметки 20,1, но затем снизился почти в 2 раза в результате проведения денежной реформы, в ходе которой значительная часть денег была изъята из оборота.

Стремительное повышение розничных цен на фоне стабильных закупочных означало, что заготовительные организации получали колоссальный доход от перепродажи приобретаемой у колхозов продукции. Всесоюзное объединение «Заготзерно» — монопольный скупщик зерна у колхозов и совхозов — в 1935 году, сразу после отмены карточек, закупало, а точнее сказать, заготавливало пшеницу во II поясе, включавшем основные зерновые районы, по мизерной цене (80 коп. за центнер), а продавало ее по 10,4 руб., из которых 1,5 руб. шло на покрытие расходов самого «Заготзерна», а 8,9 руб. направлялось в бюджет в виде налога с оборота¹⁹. «Заготзерно» стало в те

годы важнейшим плательщиком налога с оборота и фактически главным источником средств для индустриализации.

Крестьяне получали по трудодням за работу в колхозном хозяйстве копейки, а порой и вообще ничего не получали, тогда как нехитрые промышленные товары, которые они покупали, — соль, сахар, керосин, ситец и др. — все дорожали и дорожали. Был установлен минимум трудодней, который колхозники обязаны были отработать в общественном хозяйстве, а нарушители подлежали уголовному преследованию. Потом кара была «смягчена» — виновные лишались приусадебных участков, которые фактически и были основным, главным источником продуктов для крестьянских семей. Уйти в город колхозники не могли — при введении в 1932 году паспортной системы паспорта были выданы только населению городов, рабочих поселков и новостроек, а беспаспортные крестьяне, чтобы сменить место жительства, должны были получить справку сельсовета, выдача которых была ограничена. Долгие годы многомиллионное сельское население было крепостнически прикреплено к земле и за принудительные, «барщинные» отработки в общественном хозяйстве получало разве что право кормиться со своего небольшого приусадебного участка.

Последствия такой политики по отношению к деревне были предельно разрушительны и полностью не преодолены до сих пор. Четверть века сельское хозяйство фактически шло либо под откос, либо стагнировало, стояло на месте. Соха заменялась на трактор, но осязательного роста производства не было. Только в 50-е годы мы смогли превзойти уровень производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, достигнутый в 1913 году, и только со второй половины 50-х годов валовой сбор зерна, поголовье крупного рогатого скота и производство мяса стали устойчиво превышать уровень 1913 года, а потребление мяса на душу населения до сих пор остается ниже уровня 1927 года, когда оно составило 50—70 килограммов без сала и субпродуктов. Такова была только чисто «экономическая», «коммерческая» цена политики развития промышленности за счет сельского хозяйства, политики обескровливания деревни. А ведь были еще потери, которые не поддаются никакому экономическому счету...

Зачем миллионы людей гибли в деревнях и в лагерях для спецпереселенцев от непосильного

¹⁸ Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 253.

¹⁹ Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963). М., 1964, с. 179.

¹⁷ Экономическая энциклопедия, т. 2. М., 1975, с. 304.

труда, голода и болезней, ради чего крестьянские восстания жестоко подавлялись войсками НКВД, во имя каких сверхзадач сельские труженики раскулачивались и насильно сгонялись в колхозы? Где она, эта высшая цель, оправдывающая якобы погром деревни, приобретение масштабы национальной трагедии?

Репрессии против крестьян, принудительный характер коллективизации, раскулачивание, выселение осуждают теперь все. Но у многих, наверное, в глубине души остается все-таки убеждение, что жертвы и лишения, выпавшие на долю деревни в 30-е годы, были если не целиком, то в какой-то своей части оправданы. Ведь именно сельское хозяйство финансировало индустриализацию; ведь вся тяжёлая и оборонная промышленность была построена на средства, изъятые из деревни: только экспорт зерна сделал возможным закупки иностранной техники для индустриализации, и только резкое расширение государственных хлебозаготовок худо-бедно, но все-таки позволило прокормить строителей, а затем и рабочих Магнитки и Сталинградского тракторного.

При ближайшем рассмотрении, однако, и эти аргументы, какими бы привычными и убедительными они ни казались, рушатся как карточный домик. Здесь, по сути дела, двойной обман — во-первых, предположение о том, что без перекачки средств из деревни провести индустриализацию было бы невозможно; и во-вторых, утверждения, что бедствия, пережитые деревней в 30-е годы, были вызваны главным образом изъятием средств на нужды индустриализации. Ни то, ни другое неверно.

Во-первых, как уже говорилось, если бы в промышленности и в строительстве не утвердилась командно-административная система с ее безумной расточительностью, просто не понадобилось бы ничего изымать из сельского хозяйства сверх того, что изымалось через налоги в период нэпа. Тресты, синдикаты и кооперация могли и далее, после 1928 года, обеспечивать высокие приросты промышленного производства преимущественно за счет повышения производительности труда, а не за счет неимоверного расширения занятости (то есть экстенсивного роста), как это в действительности имело место в 30-е годы, в придавленной директивным планом экономике. Судя по темпам роста в период нэпа и в годы первых пятилеток, сохранились тогда

рыночные отношения, мы могли бы построить нормально, без надрыва, как минимум вдвое больше заводов, фабрик и электростанций без всякого ограбления деревни.

Во-вторых, если даже и существовала какая-то высшая необходимость безвозмездно изъять из сельского хозяйства часть произведенного продукта (скажем, ту самую часть, которая и была фактически изъята в 30-е годы), при отсутствии колхозов это никак не привело бы к тяжелейшему кризису деревенской экономики.

Трагедия села была вызвана прежде всего и главным образом не этими изъятиями, а насильственной коллективизацией, разрушившей основные фонды сельского хозяйства и резко снизившей эффективность аграрного производства. Принудительный, подневольный труд государственных крепостных — прикрепленных к земле колхозников — оказался, как и следовало ожидать, существенно менее производительным, чем труд свободных крестьян-единоличников. И деревня фактически пострадала не столько от изъятий на нужды индустриализации, сколько от сокращения производства в результате создания колхозов.

В самом деле, сколько хлеба изъяти из сельского хозяйства на экспорт? Вот цифры: 1928 год — 89 тыс. тонн, 1929-й — 280 тыс. тонн, 1930-й — 4,8 млн. тонн, 1931-й — 5,2 млн. тонн, 1932-й — 1,8 млн. тонн. Всего за первую пятилетку было вывезено 12 млн. тонн зерна, или в среднем 2—3 млн. тонн в год. В последующем экспорт снизился и только к концу 30-х годов снова вышел на этот уровень. Много это или мало — 2—3 млн. тонн в год? Сейчас, когда мы импортируем по несколько десятков миллионов тонн ежегодно, вопрос кажется чисто риторическим. А тогда? Тогда этот объем экспорта — всего 3% производства — тоже никак нельзя было назвать огромным. В 1913 году царская Россия без напряжения и чрезвычайных мер вывезла более 9 млн. тонн зерна²⁰.

А сколько хлеба дала коллективизация для рабочих городов? Существенно больше, чем на экспорт, но тоже не очень много. В целом государственные заготовки зерна (для экспорта, государственного карточного снабжения городов и пр.) возросли с 9—12 млн. тонн в

1925—1928 годах до 32 млн. тонн в 1938—1940 годах²¹, то есть примерно на 20 млн. тонн. Эта самая прибавка в 20 млн. тонн могла бы быть получена в 1928—1940 годах при весьма умеренном, двухпроцентном ежегодном приросте производства зерна. В конце нэпа, в 1926—1928 годах, среднегодовой сбор зерна приближался к 75 млн. тонн и при увеличении только на 2% в год должен был бы составить порядка 95 млн. тонн в 1940 году. Деревня при таком развитии событий лучше бы жила, но и не стала бы жить хуже — она смогла бы прокормить индустриализованную страну без тех ужасающих потерь, которые в действительности понесла.

Смогла бы, даже если б в эти 12 лет происходил только умеренный рост производства. Смогла бы, если бы сохранился нэп, единоличные крестьянские хозяйства, широко охваченные бытовой, снабженческой и кредитной кооперацией. Смогла бы вне всякого сомнения, ибо такое сельское хозяйство давало значительно более высокие приросты производства, чем упомянутые 2%, — реальный прирост в период нэпа был 11% в год.

Еще одно, последнее возможное возражение: деревня давала бурно растущему городу не только продовольствие, но и рабочие руки, так что произвести больше продукции с меньшим числом занятых она была просто не в состоянии. Это еще одно расхожее представление, не подтверждаемое фактами.

Во-первых, если рост производительности труда не замедлился бы резко и значительно с переходом от нэпа к администрированию, промышленность смогла бы выйти на даже более весомые результаты без того строго расширения занятости, которое фактически имело место. А во-вторых, прирост занятости в промышленности и строительстве был очень высоким относительно, то есть в сравнении с низкой исходной базой, но довольно скромным в абсолютном выражении — прибавка в несколько миллионов человек. Вопреки распространенному убеждению, этот прирост был обеспечен в основном за счет естественного увеличения трудоспособного населения в городах, расширения женской занятости и других факторов, а не за счет притока крестьян в промышленность и на стройки. Численность занятых в сельском

²⁰ Народное хозяйство СССР в 1958 году. М., 1959, с. 802.

²¹ М а л а ф е е в А. Н. Указ. соч., с. 112; Народное хозяйство СССР в 1958 году. М., 1959, с. 352.

хозяйстве в этот период, по оценкам Б. Болотина, изменилась незначительно: сократилась с 37 млн. человек в 1929 году до 35 млн. — в 1938 году²². Деревня, другими словами, хоть и давала городу рабочие руки, но не в таком масштабе, чтобы в самом сельском хозяйстве совсем уж некому было работать.

Все, таким образом, сходится к одному, с какой стороны ни подходить к проблеме: ко времени войны мы могли бы иметь куда более мощный экономический потенциал, чем в действительности имели, без того неимоверного напряжения и тех тяжелейших потерь, которые до сих пор списываются на необходимость индустриализации страны. На самом же деле индустриализация здесь ни при чем. Все потери лежат «на совести» административной хозяйственной системы, снизившей коэффициент полезного действия нашего экономического механизма и в промышленности, и в сельском хозяйстве до такого уровня, который существовал разве что у паровоза Стефенсона. Не будь этого снижения, мы могли бы в нормальных, человеческих условиях провести как минимум две индустриализации вместо одной.

На смену нэповскому, рыночному, эффективному и конкурентоспособному по мировым стандартам хозяйству пришла, по сути дела, «лагерная экономика», крайне расточительная и неэффективная с чисто экономической точки зрения. Это вовсе не преувеличено: по существующим оценкам, в лагерях в разное время находилось от 10 до 15 млн. заключенных, в частности, на момент смерти Сталина — 12 млн. человек то есть 1/5—1/4 часть (!) всех занятых в то время в отраслях материального производства. В начале 30-х годов заключенных было меньше, но и тогда уже ГУЛАГ, видимо, превзошел по объему выпускаемой продукции все наркоматы. К концу 30-х годов система лагерей настолько разрослась, что внутри ГУЛАГа пришлось создавать специальные *отраслевые* управления: Главлеслаг, Главпромстрой, ГУЛГМП (Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности), ГУЛЖДС (Главное управление лагерей железнодорожного строительства). Усилиями заключенных строились целые города (Магадан, Ангарск, Норильск, Тайшет), каналы (Бело-

морско-Балтийский, Москва — Волга), железные дороги (Тайшет — Лена, Известковая — Ургал, БАМ — Тынды, Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань); лагеря давали в годы войны половину всего добываемого золота, треть платины, значительную — вероятно, большую — часть древесины.

Добавьте к этому 35 млн. прикрепленных к земле крестьян (более 3/5 всех занятых в отраслях материального производства), условия труда которых мало отличались от лагерных, и получится, что едва ли не 4/5 всей экономики зижделось в те годы на прямом внеэкономическом принуждении — наименее эффективном способе организации хозяйства из всех известных истории.

В социальной области административно-командная система привела к падению жизненного уровня огромных масс населения. Реальные доходы в первые 10 лет индустриализации снизились, ухудшилось качество жизни, особенно в деревне. Быстрый рост денежных доходов, вызванный непомерной денежной эмиссией, перекрывался еще более быстрым ростом цен; в городах и на стройках распространялась карточная система снабжения.

Были сняты все препятствия для бесконтрольной эмиссии денег. Масса денег в обращении увеличилась с 1,3—1,4 млрд. в 1926—1928 годах до 11,2 млрд. руб. в 1937 году. На свободном рынке, естественно, начался головокружительный рост цен: в частной торговле к 1932 году они выросли по сравнению с 1927—1928 годами почти в 8 раз, в том числе на промышленные товары — более чем в 5 раз, на сельскохозяйственные — почти в 13 раз²³. Государственные оптовые и розничные цены поначалу удерживались на стабильном уровне, что вызвало острейший товарный голод. Со второй половины 1928 года поэтому вводится карточная система нормированного снабжения — сначала в отдельных городах, потом во всех городах без исключения, сначала на хлеб, потом на основные продовольственные товары и далее — на мануфактуру. К 1934 году карточным снабжением из централизованных фондов было охвачено 40 млн. человек и еще 10 млн. снабжались из местных фондов²⁴. Только в 1935 году карточки были отме-

нены при одновременном резком повышении государственных розничных цен.

В деревне, где карточное снабжение отсутствовало, каждый неурожайный год вызывал страшные голодовки, возросла смертность, замедлился естественный прирост населения. Вместо того чтобы стать «одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире» «через каких-нибудь три года», как обещал Сталин в 1929 году, Советский Союз превратился в страну с сокращающимся населением. Так, в голодном 1933 году не только в деревне, но даже в городах страны число рождений уступало числу смертей, хотя 1932 год не был неурожайным. И если после этого население и увеличилось к концу 30-х годов, то лишь крайне незначительно. Иными словами, 30-е годы были периодом фактической стабилизации численности населения из-за резкого, неестественного повышения уровня смертности. Увеличивался выпуск угля и стали, поднимались новые города, но роста населения не было: люди умирали едва ли не так же быстро, как и рождались.

Наши прямые потери во время Отечественной войны составили официально 20 млн. человек. Исходя из этой оценки, сегодня можно примерно представить себе действительный и потенциальный ущерб в человеческих жизнях от политики 30-х годов. Подсчеты показывают, что в течение двух десятилетий (1930—1950 гг.) население СССР в границах до 17 сентября 1939 года не увеличивалось, тогда как при сохранении естественного прироста середины 20-х годов (2%, или 3 млн. человек в год) оно должно было возрасти за это время на 60 млн. человек. Должно было, но не возросло. Иными словами, убыль реальных и потенциальных 40 млн. — это не война, это другое. Жаль, что отсутствие данных не позволяет сегодня точно сказать, в какой мере это объясняется снижением рождаемости, а в какой — повышенной смертностью из-за голода и репрессий.

Такими потерями расплачивалась страна за триумфальное шествие административной системы. Четверть века все, даже самое необходимое, откладывалось на потом, насущные потребности приносились в жертву долгосрочным приоритетам. Четверть века экономика работала на износ, на пределе своих возможностей, нити хозяйственных взаимосвязей были натянуты как струна, страна жила в обстановке поистине невозможного, сверхчеловеческого

²² Мировая экономика и международные отношения, 1987, № 12, с. 147.

²³ Малафеев А. Н. Указ. соч., с. 404, 407, 408.

²⁴ Там же, с. 137.

напряжения сил. Ни один успех тех лет, будь то хозяйственный или военный, не был легким, все они оплачивались сполна по немислимо высокой ставке.

С точки зрения наших сегодняшних задач самое, возможно, трагическое состоит в том, что долгие годы администрирования оставили неизгладимый след в общественном сознании. Командная экономика, по существу, создала адекватный себе тип социальной психологии, специфическую систему жизненных ценностей и приоритетов.

Ф. Энгельс в свое время писал, что умирающее римское рабство «...оставило свое ядовитое жало в виде презрения свободных²⁵ к производительному труду». Такое же ядовитое жало оставила нам в наследство и «лагерная экономика» — система принудительного, неэффективного труда и уравнилельного распределения.

Продолжавшееся из года в год физическое истребление цвета нации, наиболее талантливых, инициативных и трудолюбивых, ограничение до предела возможностей для самовыражения и творческого труда, насаждение единых для многомиллионной страны шаблонов, стандартов и стереотипов во всех сферах общественной жизни, стремление подстричь всех под одну гребенку — все это способствовало формированию особого типа работника: непрофессионала-средняка, не умеющего и не желающего делать что-то лучше, чем другие, пассивного, безынициативного, утратившего уважение к себе и с готовностью голосующего «как все».

Среди населения широко распространились настроения апатии и безразличия, паразитическая уверенность в гарантированной работе и социальной безопасности и в то же время твердая убежденность в том, что «выкладываться», работать с полной отдачей сил бесполезно и даже зазорно («как вы нам платите, так мы вам и работаем»). Немалая часть нации физически и духовно деградировала на почве пьянства и безделья; произошли упадок этики и резкое снижение моральных критериев, развилось массовое воровство, неуважение к честному труду и одновременно — агрессивная зависть к любым повышенным трудовым доходам. Все более осязаемым стало неверие в провозглашаемые цели и намерения, в том числе и в возможность более разумной, более ра-

циональной организации экономической жизни.

Сдвиги в массовом сознании — это, пожалуй, самое труднопреодолимое наследие командной экономики. Изменить хозяйственный механизм, как свидетельствует исторический опыт, при должной решимости «верхов» и поддержке «низов» можно довольно быстро. А вот создать нового «экономического человека», нового работника, новую культуру деловых навыков и взаимоотношений — для этого потребуются годы и годы, а возможно, и поколения.

История не знает сслагательного наклонения. Прошлое не вернешь, и раз случившемуся уже навсегда суждено остаться таким, каким оно было в действительности. Но мысль сегодня вновь и вновь возвращается к периоду конца 20-х годов, к одному и тому же вопросу, без ответа на который вряд ли можно понять сущность нынешней перестройки: можно ли было не сворачивать нэп и почему он все-таки был свернут?

Теперь, с высоты наших сегодняшних знаний о том далеком периоде, можно с уверенностью сказать: сохранился тогда нэп — и мы достигли бы куда больших хозяйственных успехов, в том числе и на поприще индустриализации. Но это, строго говоря, еще никак не доказывает, что тогда была реальная альтернатива свертыванию нэпа.

Надо объяснить все, что случилось, исходя из *тогдашних* реальностей, той специфической обстановки, надо попытаться взглянуть на вещи глазами людей того поколения. «Задним умом», как известно, сильны все. А вот тогда, в тех конкретных исторических условиях, когда мы были единственной социалистической страной в полном капиталистическом окружении, когда опыта проведения социалистических преобразований почти что не было, когда отнюдь не одни только лидеры, а большинство в партии и миллионы трудящихся искренне верили, что только жесткой централизацией можно создать позарез необходимую индустриальную мощь в кратчайшие сроки, — не был ли тогда переход к командной экономике неминуемым и предрешенным? Ошибка или даже злой умысел одного исторического лица могут быть названы трагической случайностью, ошибка большинства — это уже историческая необходимость.

Соотношение исторических сил было тогда не в пользу

сторонников сохранения нэпа, пишет И. Клямкин. Даже большинство крестьян примирилось с коллективизацией, ибо видело в кулаке своего врага, ибо не успело еще «обуржуазиться», было в основе своей патриархальным, питало сильные иллюзии в отношении общинной коллективности. Поэтому-то и всеобщего крестьянского восстания, ожидавшегося лидерами западноевропейской социал-демократии, не последовало, и страна получила ту хозяйственную и политическую систему, которая соответствовала запросам тогдашнего населения. Отсюда, кстати, всего один шаг до известного утверждения, что народ имеет то правительство, которого заслуживает.

Этот аргумент очень серьезен. Можно ведь рассуждать и так: да, свертывание нэпа было ошибкой, но это понятно нам только теперь, а тогда избежать этой «ошибки» не было никакой возможности. Сегодня, когда у нас есть оплаченный дорогой ценой опыт, мы, возможно, и не повторили бы тех ошибок. А тогда искренне заблуждались все, по крайней мере, большинство — и руководство, видевшее выход только в сверхцентрализации, и рабочие, убежденные, что в условиях капиталистического окружения жертвы и лишения необходимы, и крестьяне, посчитавшие коллективизацию меньшим злом в сравнении с фермерской конкуренцией, к которой они еще не были готовы. Кто-то, конечно, преследовал свои корыстные цели, но разве смогли бы эти относительно немногие резко повернуть развитие огромной страны, если бы за ними не стояло большинство? Не на одних же штыках, в конце концов, держалась политическая власть, режим, установившийся после 1929 года! Пусть большинство заблуждалось, не осознавало тогда своих истинных интересов — разве это что-то меняет? Историю делают народные массы, и в те годы они в большинстве своем не считали нужным «сделать» ее как-то иначе. А если бы считали, что надо иначе, — ни лидеры, ни аппарат подавления, ни репрессии не смогли бы навязать стране другого варианта развития.

Не будем, однако, спешить с выводами, обратимся к историческим фактам. Посмотрим, как проходило свертывание нэпа, как утверждалась командная экономика, какие силы стояли за драматическими переменами в хозяйственной жизни конца 20-х — начала 30-х годов.

Продолжение следует

²⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.21, с. 149.

**На развилке дорог (Так была ли альтернатива 1929 году?)
Студенческий меридиан, №2, 1989 (продолжение)**

Владимир Попов, Николай Шмелев

Ст.М представляет: Владимир Попов

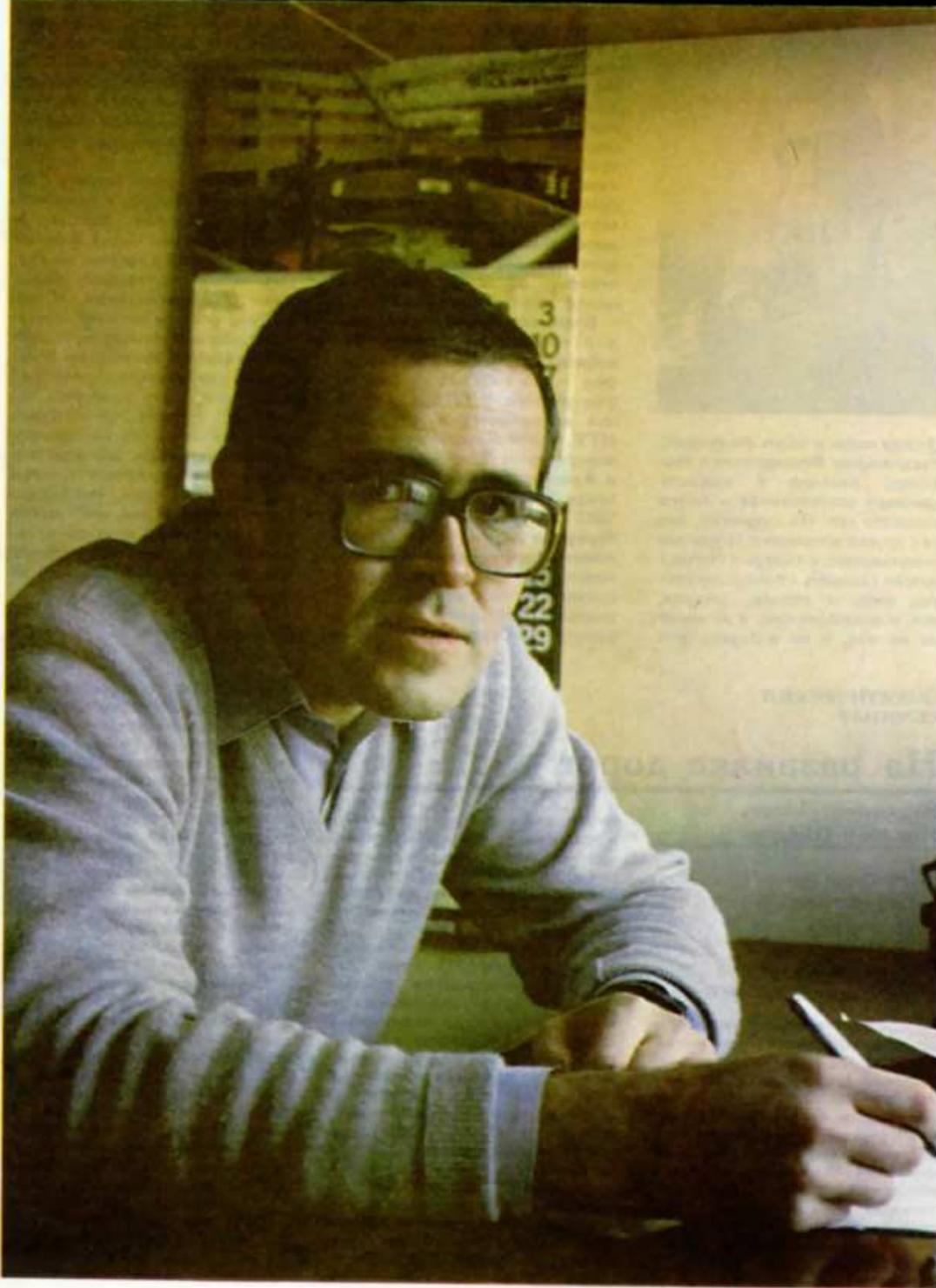


Фото С. Панина



Между мною и моим соавтором, Владимиром Викторовичем Поповым, разница в возрасте довольно значительная — почти двадцать лет. По существу, это уже другое поколение. И именно то поколение, о котором сегодня можно слышать столько неслесных слов: и ленивы, дескать, они, и нелюбопытны, и не верят ни во что, и не интересуются

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

На развилке дорог

Владимир Попов,
Николай Шмелев

(Так была ли альтернатива 1929 году?)

Все началось с регулирования цен

Известное, это многим покажется парадоксальным, но мы убеждены: конец нэпа начался не с решения 1929 года. Он начался в недрах самого нэпа. С одного из важных элементов его экономического механизма — с регулирования цен. Играя в основном служебную, вспомогательную роль в период нэпа, этот элемент во второй полови-

Продолжение. Начало в № 1

ничем. Одним словом — дети «эпохи застоя».

Никогда я не разделяла подобные настроения. Люди есть люди, и никогда ни одно поколение не хуже другого. Более того, смею выразить уверенность, что те, кто идет за нами, — они чем-то лучше нас. Это касается, на мой взгляд, прежде всего двух вещей — широты кругозора и уровня профессионализма. И я рад, что в последние годы жизнь нередко сталкивает меня с тридцатилетними людьми, которые, надеюсь, в самом недалеком будущем возродят и достоинство, и некогда высокую репутацию нашей экономической науки.

Большие надежды возлагаю я и на своего соавтора. Все события его недлинной биографии — это события из биографии ученого. В 1976 году окончил экономический факультет МГУ, в 1980-м, после окончания аспирантуры Института США и Канады АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 году опубликовал свою первую, а в 1988 году — вторую монографию по движению экономических циклов в капиталистической экономике. Сейчас готовит еще одну серьезную работу — «Структурные сдвиги

в мировом капиталистическом хозяйстве». Работаем мы с ним вместе, в одном отделе, а в последние год-два и пишем вместе: в начале 1989 года выйдет в свет наша совместная книга «На переломе: экономическая перестройка в СССР».

Иногда приходится слышать вопрос: с какой это стати специалисты по мировой экономике полезли в советские проблемы?

Отвечу в нашу защиту следующее: во-первых, и у нас есть профессиональная совесть, и она сегодня тоже болит, и болит не меньше, чем у других; во-вторых, основные законы экономики везде одинаковы, и это абсурд, если экономист считает, что он может позволить себе разбираться в экономике Запада и не разбираться в советской экономике, или наоборот; в-третьих, сегодня ни подлинный размах наших внутренних проблем, ни наши перспективы не могут быть правильно поняты вне контекста того, что происходит в мире. Я рад, что с самых первых лет своей научной молодости мой соавтор именно такими глазами и смотрит на жизнь.

Николай Шмелев

внутренней торговли при Совете Труда и Обороне практически не занимались прямым нормированием (планированием) цен: устанавливаемые цены были в основном ориентировочными и до декабря 1923 года охватывали только базисные товары. Однако механизм рыночного ценообразования, на который была сделана ставка, не сработал в полной мере, привел к возникновению крупных ценовых неувязок, что в конце концов вынудило государство вмешаться.

Важнейшей диспропорцией стал опережающий рост цен на промышленные товары в сравнении с ценами на сельскохозяйственные — так называемые «ножницы цен». Начиная с 1913 года возрастали цены всех товаров — и промышленных, и сельскохозяйственных, причем с 1917 года такой рост резко ускорился. Но при этом более или менее выдерживалась главная обменная пропорция — к 1922 году цены промышленных товаров выросли только в 1,2 раза больше, чем цены сель-

скохозяйственных. Это, кстати сказать, было вполне объяснимо, ибо промышленность была разрушена сильнее, чем основанное на рутинной технике сельское хозяйство. С конца 1922 года картина в корне меняется: цены промышленных изделий постоянно обгоняют в своем росте цены сельскохозяйственных, так что к осени 1923 года «раствор» ножиц цен достигает уже более 300 процентов или, другими словами, относительная дороговизна товаров в сравнении с сельскохозяйственным сырьем возрастает против 1913 года больше чем в 3 раза¹. Чтобы купить плуг в 1913 году, хватало 10 пудов ржи, в 1923 — требовалось 36.

Тогдашние и современные исследователи «ножиц цен» в 1923 году называют в качестве причин их образования многие факторы, в частности, более медленное восстановление производительности труда в промышленности, острую нехватку промышленных товаров, кредитование городской промышленности через выпуск червонцев, почти не поступающих в деревню, и др. Представляется, однако, что решающую роль сыграл здесь все-таки другой фактор, слабо изученный тогда экономической наукой, но приобретавший все возрастающее значение в хозяйственном развитии стран Запада и в полной мере проявивший себя в Советской республике в первые годы нэпа.

Речь идет о закономерностях ценообразования на олигополистическом, то есть контролируемом несколькими крупными поставщиками, рынке, и в частности, о том, что эти закономерности существенно отличаются от тех, которые действуют на рынке с атомистической структурой, где конкуренция является совершенной. Если в отрасли господствует небольшое число крупных фирм, так что конкуренция со стороны аутсайдеров ограничена, то они непременно договариваются между собой о повышении цены за счет ограничения предложения (производства), ибо это позволяет увеличить прибыль.

Именно такое, олигополистическое по своей природе повышение цен за счет ограничения производства произошло в широких масштабах в 1923 году в советской промышленности

после образования трестов и синдикатов. Эти мощные объединения стали, по сути, монополистами в своих отраслях, а наша промышленность после их создания оказалась самой монополизированной в мире. При слабом тогда еще регулировании цен тресты и синдикаты, вполне естественно, встали на путь их повышения всеми правдами и неправдами. Они отказывались их снижать, несмотря на очевидную невозможность реализовать произведенную продукцию по таким завышенным ценам, поскольку продажа даже части изделий по искусственно вздутым ценам сулила большую прибыль, чем продажа всех изделий по равновесным ценам, обеспечивающим клиринг рынка. Возник кризис сбыта, затоваривание, вышедшее особенно нелепо и парадоксально в стране, только-только начавшей восстановление хозяйства и испытывавшей острую нужду в самых необходимых товарах.

Уже в конце 1922-го — начале 1923 года цены на промышленные изделия были повышены настолько, что ранее убыточные тресты стали работать с прибылью. Но даже и размер прибыли не отражал действительных масштабов монопольного завышения цен, ибо прибыль сплошь и рядом упрятывалась в себестоимость — издержки производства: в калькуляциях себестоимости завышались трудоемкость изделий, затраты на сырье и материалы, амортизационные списания и т. д., что позволяло укрывать прибыль от налогообложения и, главное, представлять дело таким образом, будто производство мало-прибыльно, оправдывая этим дальнейшее повышение цен.

Скажем, Резинотрест в конце 1923 года настаивал на том, что себестоимость пары производимых им галош составляет 5,22 червонных рубля, и потому установленная отпускная цена в 5 рублей убыточна. При проверке же в Госплане оказалось, что обеспечивающая 10-процентную прибыль цена составляет всего 3,35—3,9 рубля². Государственное управление топливной промышленности (ГУТ), монополизировавшее добычу угля в стране, повысило цены на уголь до уровня, ставившего на грань банкротства

всех потребителей, и не желало их снижать, несмотря на явное перепроизводство. Когда же по требованию Наркомата путей сообщения — одного из главных потребителей угля — ему были переданы два угольных района, выяснилось, что фактические издержки производства угля значительно ниже тех, которые фигурировали в калькуляциях ГУТа.

В полной мере использовала к своей выгоде монопольное положение и Конвенция металлосиндикатов, объединявшая тресты металлургической промышленности, машиностроения и металлообработки. Благодаря действиям Конвенции по искусственному ограничению сбыта металла и повышению цен на него на Урале возник металлический голод.

Один из участников Конвенции — синдикат Сельмаш, в который входили заводы сельскохозяйственного машиностроения, в 1922—1923 годах реализовал только $\frac{1}{4}$ продукции, тогда как $\frac{3}{4}$ пошла на склад. К осени 1923 года запасы были уже в 2 раза больше, чем предполагалось реализовать в предстоящем году³. Иначе говоря, отношение запасов на момент времени к среднемесячному объему продаж (показатель, широко используемый в западной статистике для оценки состояния конъюнктуры и колеблющийся, например, в обрабатывающей промышленности США в последние десятилетия в довольно узких пределах 1,4—1,9) — это отношение в советском сельскохозяйственном машиностроении в момент кризиса сбыта 1923 года составило 24! Сельмаш тем не менее не снижал цены, сознательно сдерживая сбыт, чтобы реализовать монопольную прибыль.

Ф. Дзержинский, более известный как глава службы безопасности (ВЧК — ОГПУ), но бывший, кроме того, и выдающимся хозяйственным руководителем (с начала 1924 года он — председатель ВСНХ, а до этого — нарком транспорта) и, вероятно, крупнейшим теоретиком «хозрасчетного социализма» после Ленина, особенно усердно боролся с монополистическими поползновениями отдельных ведомств и синдикатов. Во время кризиса сбыта 1923 года он прямо сравнивал политику Конвенции металло-

¹ Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963 гг.). — М., 1964, с. 377—385.

² Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период 1921—1928 гг. — М., 1972, с. 66.

³ Лавинс О. Р. Искусство сложения: Очерки. — М., 1984, с. 45—46.

синдикатов с действиями существовавшего до революции монополистического объединения «Продамет». «Это, — писал Дзержинский о Конвенции, — не государственный орган удешевления и увеличения массового производства, а орган вздувания цен, пользующийся своим монопольным положением»⁴.

Из общего правила, как и всегда, были, конечно, исключения. Всесоюзный текстильный синдикат (ВТС), возглавлявшийся энтузиастом синдицирования В. Ногиним, начал снижать цены по собственному почину, еще до решения правительства. Но в данном случае ВТС действовал в соответствии с общегосударственными интересами, благодаря сознательности своих руководителей и вопреки своей чисто коммерческой выгоде. Кроме того, монополия Текстильного синдиката не была абсолютной, подрывалась частником и кустарным крестьянским производством на дому пеньковых, льняных и шерстяных тканей, возраставшим по мере повышения синдикатских цен.

Осенью 1923 года, когда все склады были уже забиты, объем производства в государственной промышленности прекратил возрастать и почти год держался на этом искусственно заниженном уровне. Возникло исключительное для периода нэпа, да и для всей истории советской экономики, явление — цены частного рынка на промышленные товары оказались ниже цен государственного и кооперативного секторов, использовавших возможности их монополистического повышения. Все это явно требовало вмешательства государства, и оно действительно вмешалось. Сверху, из центра стали устанавливаться цены на промышленные товары, так что тресты и синдикаты лишились возможности монопольного давления на рынок. Снижая цены, государство оказывало нажим на производителей, заставляя их изыскивать резервы увеличения прибыли, мобилизовывать усилия на повышение эффективности производства, которое только и могло теперь обеспечить рост прибыли.

Широкая кампания по снижению цен была начата правительством еще в конце 1923 года, но действительно всеобъемлющее регулирование ценовых

пропорций началось в 1924 году, когда обращение полностью перешло на устойчивую червонную валюту, а функции Комиссии внутренней торговли были переданы созданному Наркомату внутренней торговли с широкими правами в сфере нормирования цен. Принятые тогда меры оказались успешными: оптовые цены на промышленные товары снизились с 1 октября 1923 года по 1 мая 1924 года на 26 процентов и продолжали снижаться далее; запасы рассосались, рост производства возобновился.

Весь следующий период до конца нэпа вопрос о ценах продолжал оставаться стержнем государственной экономической политики: повышение их трестами и синдикатами грозило повторением кризиса сбыта, тогда как их понижение сверх меры (при существовании наряду с государственным частным сектором) неизбежно вело к обогащению частника за счет государственной промышленности, к перекачке ресурсов государственных предприятий в частную промышленность и торговлю. Частный рынок, где цены не нормировались, а устанавливались в результате свободной игры спроса и предложения, служил чутким барометром, стрелка которого, как только государство допускало просчеты в политике ценообразования, сразу же указывала на него.

Трудно было ожидать, что у правительства, впервые в мире приступившего к всеобщему регулированию цен и не имевшего в этой области вообще никакого опыта, получится все и сразу. Даже сейчас, когда экономическая наука продвинулась в области анализа цены далеко вперед и разработаны математические модели движения цен, существуют большие сомнения в практической способности центрального органа обоснованно и эффективно регулировать не то что все, но даже главные ценовые пропорции. Тем более это верно в отношении того времени: сам председатель ВСНХ Дзержинский называл нажим на предприятия с помощью низких цен «топорной работой». На практике дело выглядело таким образом, что центр, будучи просто не в состоянии проверить правильность калькуляций цен отдельных изделий, представлявшихся в Наркомат внутренней торговли трестами и синдикатами, все-таки терял конт-

роль над обстановкой, пропуская то там, то здесь необоснованные повышения цен. Поэтому периодически проводились кампании по снижению цен на промтовары (кампании 1924, 1926, 1927 годов), в ходе которых, вероятно, не всегда снижались только те цены, которые были искусственно завышены.

Однако в целом и в общем регулирование цен было несомненно успешным. Главные ценовые пропорции выдерживались. Общий уровень цен после того, как в оборот в 1922 году был внедрен червонец, хотя и колебался довольно сильно, но в целом не повысился. Государственная экономическая политика с помощью специфических, не известных ранее методов — через изменение цен и распределение субсидий на расширение производства — обеспечила в общем успешное регулирование объема выпуска в рыночном хозяйстве с сильными элементами монополии. Это исторический факт и важнейший экономический итог нэпа.

Но в регулировании цен была и другая, не очень заметная на первых порах тенденция. Ценообразование осуществлялось бюрократическим аппаратом, обладавшим собственными интересами, отличными от интересов рабочего класса и крестьянства, и использовавшим любую возможность для расширения своей власти. Чем дальше, тем больше аппарат превращал регулирование цен в рычаг установления своего господства над экономикой.

Трагизм ситуации состоял в том, что тогдашняя рыночная экономика не могла ничего противопоставить экспансионистским устремлениям бюрократии. Адекватного рыночной экономике эффективного политического механизма, блокирующего ненасытное стремление аппарата к узурпации не только политической, но и экономической власти, не было. Развитой системы политического контроля над аппаратом со стороны низов, непосредственных производителей не существовало.

Отсутствие демократизма в процессе принятия решений, касающихся ценообразования, стало в конечном счете ахиллесовой пятой рыночной социалистической экономики и сыграло роковую роль в судьбе нэпа. Начав с нужного — с регулирования важнейших ценовых пропорций с целью поддержания сбалансированного хозяй-

⁴ Лацис О. Р. Там же. — с. 47.

ственного роста, неподотчетная трудящимся массам высшая бюрократическая прослойка в конце концов использовала делегированные ей полномочия в сфере установления цен для реализации своих амбициозных политических замыслов и разрушения изповской экономики.

Некоторое время все еще держалось на честности, идейности, принципиальности авторитетных руководителей. До тех пор, пока в партии и правительстве сохранялась еще здоровая демократическая атмосфера, можно было противодействовать наступлению бюрократии, и регулирование цен проводилось все-таки прежде всего и главным образом в интересах дела, для обеспечения сбалансированного хозяйственного роста. Но силы набравшей ход бюрократической машины и отдельных партийцев, в полной мере осознававших надвигающуюся угрозу, были явно неравными.

К середине 20-х годов обнаружился противоречия между Наркоматом внутренней торговли, осуществлявшим регулирование цен, и ВСНХ. Руководимый с 1924 года Держинским ВСНХ оставался самым демократическим органом хозяйственного управления. Созданный в первые месяцы после революции, он опирался на профсоюзы, выдвигавшие в ВСНХ своих выборных представителей. К концу 1920 года в президиуме ВСНХ и губернских советах народного хозяйства около 60 процентов всех членов были рабочими. Ленин не раз писал, что именно профсоюзы создали Высший совет народного хозяйства, а в перспективе неизбежен переход в руки профессиональных союзов производства и таким образом слияние профсоюзов с органами государственной власти.

Хозяйственная бюрократия концентрировалась и росла после смерти Ленина в основном не в ВСНХ (хотя и о «своем» аппарате Держинский не раз отзывался далеко не лестно), а в Наркомвнуторг, который подчинялся Л. Каменеву, сначала как председателю Совета Труда и Обороны, а затем и непосредственно — как наркому внутренней торговли. ВСНХ регулировал хозяйственную деятельность трестов с помощью субсидий, выдававшихся

⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 448.

на расширение производства. Наркомвнуторг — через установление цен.

В 1925—1926 годах ВСНХ и Наркомвнуторг разошлись по двум принципиальным вопросам. Держинский считал невозможным проведение индустриализации за счет крестьянства, Каменев требовал «раздеть мужика». Держинский, далее, решительно возражал против планов «жестких завозов» товаров, предлагавшихся Каменевым, которые, по сути, означали переход к прямому директивному планированию производства. Наркомвнуторг в полном согласии с законами внутреннего развития бюрократического аппарата, начав с регулирования цен, теперь требовал расширения своего влияния, предоставления ему права планировать производство в натуре, невзирая на цены.

Широкие полномочия по регулированию цен были предоставлены аппарату (Комвнуторгу) осенью 1923 года, во время кризиса сбыта: это было необходимо, ибо рыночная монополизированная экономика не могла нормально функционировать без регулирования цен из центра. Со временем, однако, аппарат регулирования, образованный в интересах трестов и синдикатов, стал выходить из-под их контроля и работать против тех, кто его создал; из слуги аппарат превращался в господина, все больше и больше покушаясь на породившую его рыночную экономику. Рынок мешал Наркомвнуторгу, как он мешал бюрократии вообще, не теряющей рядом иных механизмов регулирования, кроме своего собственного бюрократического, командно-административного. По сути, Наркомвнуторг стремился подменить рынок собственным планированием производства, распределения и потребления, так, чтобы он, Наркомвнуторг, мог сам решать — какие, куда и сколько ресурсов направлять. Особенно мешало Наркомвнуторгу, конечно, море неподалестных ему крестьянских хозяйств, имеющих возможность выбирать, кому продавать хлеб — государству или на свободном рынке.

ВСНХ сопротивлялся наступлению Наркомвнуторга. Держинский просил дать ему отставку или передать в его подчинение Наркомвнуторг, ибо дальше работать так было нельзя.

Продолжение на стр. 31

ЕСТЬ МНЕНИЕ



Какова цена диплома?

Задаваясь таким вопросом, не имею я в виду дотошно выяснять, во сколько рублей и копеек обходится государству так называемый «среднестатистический» студент. Нет, тут интерес иного свойства и, возможно, более глубокий. Возник он неожиданно: была по ТВ передача о наших «возвращенцах», тех, кто в свое время покинул в силу разных причин страну, пожил «там», не смог освоиться в «той» жизни и теперь вот вернулся... Не о людях этих хочется вести разговор, а вот о чем: все они у нас были специалистами — инженеры, врачи, филологи, педагоги — все работали и были на месте, вполне «соответствовали» и вдруг... Живут на пособие по безработице, пристраиваются мойщиками посуды. Или — не вдруг? Диплом советского вуза «там» недействителен. Возможно, тут в чем-то скальвается недоброжелательное отношение к нам, но только ли в этом дело? Может быть, те знания, которые мы получаем в вузе, действительно уже «вчерашний день» современного технологического общества?

Елена Кузнецова

Ремарка социолога. Тот факт, что вуз готовит специалистов высшей квалификации, признают менее 40 процентов студентов. Среди инженерных специальностей этот процент совсем низок — 23. Стать квалифицированными специалистами стремятся лишь две трети студентов.



ка любой вопрос увязал в бюрократических согласованиях.

Как и Ленин, Дзержинский слишком хорошо понимал, чем чревато дальнейшее вмешательство Наркомвнторга в рыночные связи, его попытки изменить народнохозяйственные пропорции вопреки рыночным силам. Главное, считал он, не делать крупных ошибок в хозяйственной политике, не дать оппозиции возможности сыграть на экономических промахах правительства. Если мы не возьмем правильной линии в руководстве народным хозяйством, не найдем правильного темпа, писал он в июле 1926 года В. Куйбышеву, сменившему его затем на посту руководителя ВСНХ, «оппозиция наша будет расти, и страна тогда найдет диктатора — похоронщика революции, какие бы красные перья ни были на его костюме...»⁶. Эти слова, написанные Дзержинским незадолго до смерти, оказались пророческими. Он ошибся разве что в одном — оппозиция использовала даже не промахи ВСНХ в экономической политике (таких крупных промахов практически не было). Она воспользовалась политической ситуацией, в которой отсутствовал контроль снизу над аппаратом.

Свертывание нэпа

Шел 1925-й год: народное хозяйство успешно и быстро

⁶ Ляцис О. Р. Искусство сложения: Очерки. — М., 1984, с. 129.

восстанавливалось, было уже ясно, что в следующем году по большинству показателей страна выйдет на уровень 1913 года, и начнется собственно расширение производства, строительство новой социалистической экономики. Какой она должна стать, куда, в какие отрасли направить средства в первую очередь — эти вопросы превращались из чисто абстрактных в практические, осязаемые и злободневные. Необходимость индустриализации, широкого обновления производственного аппарата в промышленности, перевода предприятий на новый технический базис понимали все. Но где взять современное оборудование в огромной крестьянской стране с архаичной промышленностью? Произвести его на отсталых машиностроительных заводах внутри страны было невозможно. И поэтому выход был один — закупить технически совершенное оборудование для станкостроительных заводов за границей, построить эти заводы и с их помощью перенести на новую техническую основу всю промышленность и все народное хозяйство. Нужна была валюта, а валюту давал хлеб и еще раз хлеб — традиционный экспортный товар, главная статья экспорта дореволюционной России.

Все упиралось, таким образом, в хлебозаготовку, от увеличения которых зависели сроки и темпы превращения Советской России из аграрной, отсталой в передовую промышленную державу. По вопросу о том, как проводить эти хлебозаготовки — а фактически по вопросу о путях индустриализации, — мнения в партии разошлись еще в 1925 году. К XIV съезду, собравшемуся в последние дни 1925 года, оформилась «новая оппозиция» во главе с Г. Зиновьевым и Л. Каменевым, требовавшая расширить сельскохозяйственный экспорт за счет наступления на «зажиточные элементы» в деревне. Считая, что крестьянское накопление представляет угрозу для социализма, они фактически настаивали на изъятии сельскохозяйственного прибавочного продукта в пользу города, на замене, как выразился Ф. Дзержинский, лозунга «лицом к деревне» лозунгом «кулаком к деревне».

Через год с аналогичными требованиями выступил Л. Троцкий. Предсказывая неизбежность разрыва союза с крестьянством, он настаивал на максимально высоких тем-

пах индустриализации, финансируемой за счет деревни — через увеличение налогообложения крестьян, повышение цен на промышленные товары и прочее.

Между тем хлебозаготовки, с которыми связывались все надежды на будущую индустриализацию, шли не слишком гладко. Осенью 1925 года план закупок зерна для экспорта, который должен был дать валюту для закупки зарубежного оборудования, выполнен не был. В 1926 году, правда, государственные заготовки увеличились до 11,6 миллиона тонн против 8,9 миллиона тонн в 1925 году, но и этого было мало. А потом началось даже снижение объема заготовок — до 11,0 миллиона тонн в 1927 году и до 10,9 миллиона тонн в 1928 году.

Страсти вокруг хлебозаготовок накалялись: чисто хозяйственный вопрос превращался в важнейший политический, от принимаемых решений зависело будущее политики нэпа, будущее «хозрасчетного социализма». По существу, речь шла о том, чтобы повысить долю фонда накопления в национальном доходе, обеспечив таким путем ускоренное расширение инвестиций в техническую реконструкцию основных фондов. По существу, речь шла о крутой ломке важнейшей пропорции воспроизводства — между потреблением и накоплением. Но в конкретной ситуации того времени все упиралось в государственные заготовки зерна.

Экономический, хозрасчетный, естественный путь к увеличению государственных заготовок зерна лежал через повышение заготовительных цен и одновременное повышение налогообложения сельскохозяйственных производителей. Высокие заготовительные цены стимулировали бы продажу крестьянами хлеба государству, а не на свободном рынке. Высокие налоги, в свою очередь, нужны были для того, чтобы покрыть расходы государства на заготовки зерна по повышенным ценам и вместе с тем изъять часть полученных крестьянами от продажи хлеба денег, которые промышленность не могла обеспечить товарами, — к 1925—1926 годам кризис сбыта сменился уже товарным голодом, спрос на потребительские товары превышал предложение, и обеспечить сбалансированность рынка при одновременном расширении фонда накопления можно было

только путем повышения налогов.

Другой вопрос — нужно ли было резкое повышение нормы накопления, — ведь темпы экономического роста и так были в 20-е годы самыми высокими в мире при умеренной доле фонда накопления в национальном доходе. Нужно ли было тогда подгонять историю, форсировать естественное развитие событий? С позиций сегодняшнего дня ответ очевиден. А тогда... тогда экономические стимулы и хозрасчетные методы не были использованы для повышения нормы накопления через увеличение хлебозаготовок. Был выбран другой путь — государство приступило к внеэкономическому принудительному изъятию зерна у крестьян.

Ломать об коленку, казалось, видимо, проще, привычнее. Для организации эффективной налоговой системы, способной обеспечить государству необходимые масштабы накопления и столь необходимые ему ресурсы хлеба, нужны были знания, умение и, конечно, какой-то минимум терпения. Ни того, ни другого, ни третьего у тогдашнего руководства не было.

Заготовительные цены повышены не были — на основные сельскохозяйственные продукты они оставались на стабильном «изповском» уровне. Скажем, пшеница заготавливалась в конце 20-х — начале 30-х годов так же, как и в середине 20-х, по цене 6—8 рублей за центнер «старыми деньгами», то есть по 60—80 копеек за центнер в нынешнем масштабе цен, «новыми деньгами». Между тем с 1928 года начинается бурный рост розничных цен на все товары — и промышленные, и сельскохозяйственные. Разрыв в ценах государственных и частных заготовок хлеба достигает 100 процентов. Крестьяне, конечно, предпочитают продавать зерно частнику — по более высоким ценам, что и создает трудности с государственными заготовками. В 1926/27 и 1927/28 годах плановые заготовительные цены едва покрывали себестоимость зерна. В 1928/29 году они, правда, оказались выше себестоимости на 23 процента⁷, но вследствие роста розничных цен на предметы потребления реальные доходы крестьян стали сокращаться.

⁷ Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917—1963 гг.). — М., 1964, с. 122.

Для увеличения хлебозаготовок начинают применяться методы продовольственной разверстки. В апреле и июне 1928 года пленумы ЦК партии еще осуждают обходы дворов с целью конфискации хлебных «излишков», незаконные обыски, заградительные отряды, запреты на базарную торговлю и прочее, но машина разверстки уже запущена и набирает обороты. Осенью 1928 года к кулакам, да и ко многим середнякам начинают применяться чрезвычайные меры — за сокрытие хлебных излишков привлекают к суду, хлеб конфисковывают, причем $\frac{1}{4}$ его часть отдается деревенской бедноте. Возрождается общинный принцип круговой поруки — крестьянам самим предоставляется право разверстывать план хлебозаготовок между отдельными хозяйствами. Развивается контрактация — заключение договоров с крестьянскими хозяйствами на поставку им средств производства только в обмен на зерно. Нередко условием контракта было объединение крестьян в колхоз. Государственные заготовки фактически превращались из добровольных, объем которых регулировался экономическими рычагами (ценами, налогами), в обязательные, принудительные, во внеэкономическое изъятие произведенного продукта. С лета 1929 года, когда началось форсированное создание колхозов, принудительные заготовки становятся правилом и резко расширяются — до 23 миллионов тонн в 1930 году.

Вновь созданные колхозы строили свои отношения с государством на основе контрактации — договоров об обязательной поставке сельскохозяйственной продукции в обмен на промтовары; в 1933 году контрактация была заменена системой обязательной сдачи продукции государству по твердым нормам — с каждого гектара плановых посевов — и по твердым ценам. Колхозы, таким образом, остались кооперативами только по форме, точнее — по названию, а по сути превратились в государственные нехозрасчетные предприятия, главной задачей которых было выполнение плана сдачи продукции. Немногим оставшимся единоличникам также вменялось в обязанность сдавать государству мясо, молоко, картофель, рис, шерсть.

В конечном счете зерно все-таки было заготовлено и вывезено.

В конечном счете именно экспорт хлеба обеспечил валюту для индустриализации: в годы первой пятилетки 40 процентов экспортной выручки дал вывоз зерна. В 1931 году на СССР пришлось $\frac{1}{3}$ мирового импорта машин и оборудования, а 80—85 процентов всего установленного в этот период на советских заводах оборудования было закуплено на Западе⁸.

Индустриализация на деле осуществлялась в полном соответствии с рецептами разгромленной незадолго до этого «новой оппозиции» и троцкистов — за счет выкачивания средств из далеко не зажиточной деревни, экономика которой только-только превзошла довоенный уровень. На бумаге, в официальных документах это отрицалось, но фактически, на практике, это было именно так. Н. Бухарин и его сторонники, пытавшиеся остановить введение разверстки в деревне и свертывание изъема, в 1929—1930 годах были сняты с ответственных постов в партийном аппарате.

В конце концов за счет принесения в жертву сельского хозяйства было достигнуто крупное перераспределение национального дохода в пользу фонда накопления. Отношение валовых капиталовложений к национальному доходу возросло почти в 1,5 раза. Но столь резкая ломка главной пропорции воспроизводства была фактически достигнута ценой разрушения хозрасчетной экономики. Смычка города и деревни, союз пролетариата и крестьянства, которые Ленин считал первейшим и главнейшим залогом успеха российской революции, трансформировались в систему организованной внеэкономической эксплуатации деревни городом, в систему принудительного выкачивания не только прибавочного, но и необходимого продукта из сельского хозяйства в пользу промышленности.

В дополнение к этому широком фронтом шло свертывание изъема и по другим направлениям. В промышленности в соответствии с постановлением Совнаркома 1927 года трестам стали устанавливаться производственные планы. В конце 1929 года тресты были преобразованы из мощных хозрасчетных предприятий в посредническое звено в управлении промыш-

⁸ Мировая экономика и международные отношения. 1987, № 11, с. 146.

ленностью, а в начале 30-х годов они фактически прекратили свое существование. Синдикаты, напротив, из органов сбыта и снабжения были в том же 1929 году преобразованы в отраслевые промышленные объединения (главки), взявшие на себя функции планового регулирования деятельности предприятий. Фактически восстанавливалась жестко централизованная система управления промышленностью периода «военного коммунизма». С 1928 года синдикатская торговля стала заменяться распределением ресурсов сверху по фондам и нарядам: к концу 1930 года только 5 процентов промышленной продукции поставлялось по договорам поставщиков с потребителями против 85 процентов в предыдущем году.

Частник последовательно вытеснялся из всех отраслей. К 1933 году приходящаяся на частный сектор доля производства сократилась по сравнению с 1928 годом с 18 до 0,5 процента в промышленности, с 97 до 20 процентов в сельском хозяйстве, с 24 процентов до нуля в розничной торговле. Начавшееся по инициативе государства в 1927 году свертывание концесий фактически закончилось к 1933 году, когда были аннулированы все концессии, за исключением нескольких рыболовных.

Налоговая реформа 1930 года заменила 63 вида различных налогов и платежей, с помощью которых государство ранее регулировало развитие экономики, двумя основными платежами предприятий — налогом с оборота и отчислениями от прибыли (для колхозов ту же роль выполнял подоходный налог). С введением обязательных плановых заданий фискальные рычаги регулирования производства утратили свое значение, и у налогов осталась только одна функция — обеспечивать доходы казны. Разнообразие налоговых платежей, ставшее в сложившихся условиях своего рода декоративной надстройкой, сочли ненужным излишеством, создающим путаницу, и ликвидировали.

В 1930—1932 годах пришла кредитная реформа, фактически заменившая кредит плановым банковским финансированием. Коммерческий кредит — одних предприятий другим — был запрещен и заменен прямым централизованным кредитованием. Было упразднено

но вексельное обращение. Долгосрочный кредит — на инвестиции — для государственных предприятий и организаций вообще отменялся. Вместо него вводилось безвозвратное финансирование, производившееся несколькими банками долгосрочных вложений, которые, по сути, уже не являлись кредитными учреждениями: на счетах этих банков, подчинявшихся Наркомату финансов, только концентрировались собственные финансовые ресурсы предприятий и бюджетные ассигнования, предназначенные для капитальных вложений, причем расходовать эти ресурсы банки могли только в соответствии с планами предприятий. Долгосрочный кредит в собственном смысле этого слова (предоставление требующих возврата ссуд под процент) был сохранен только для колхозов, промысловой и потребительской кооперации.

Краткосрочный кредит был сосредоточен в Госбанке: кооперативные банки были упразднены, а их операции перешли к Госбанку. К 1933 году на долю Госбанка приходилось уже 97 процентов всех краткосрочных кредитов⁹. Немногочисленным оставшимся частным предприятиям кредит был закрыт. Ко времени войны осталось только 7 банков — Госбанк, Внешторгбанк и банки долгосрочных вложений (последние в 1959 году были объединены в Стройбанк, так что число банков сократилось до трех).

Таким было становление и утверждение административной системы. К исходу первой пятилетки командная экономика стала доминирующей во всех сферах хозяйственной жизни. Рынок, товарно-денежные формы связи между хозяйственными агентами повсеместно были вытеснены директивным плановым распределением ресурсов и продукции. Закончился тяжелейший период в истории советского народного хозяйства, содержанием которого стало свертывание социалистической рыночной экономики и переход к жесткой централизации при одновременном крупномасштабном перераспределении средств из фондов накопления и потребления деревни в фонд накопления города.

Если это и был троцкизм,

⁹ Кредитно-денежная система СССР. — М., 1967, с. 304.

ЕСТЬ МНЕНИЕ



Шел в комнату —
попал в другую...

Всякий человек, переступивший порог вуза, волюно или неволюно ждет перемен в жизни. У кого-то ожидание острее, у кого-то проявляется внешне не столь ярко, но оно есть, это ожидание: вот порог альма-матер, вот шаг за этот порог и — ах! — новая жизнь, новые мысли и слова, иной (не школьный) воздух вокруг тебя...

Мы быстро привыкаем и входим в колею. Лекции, семинары, лабораторные, перекуры между парами, какие-то обычные разговоры, опять лекции — привыкаем, привыкаем и — следуем в русле, идем размеренной походкой от семестра к семестру без особых взлетов и падений.

И бывает просто скучно.

Значит, что-то здесь, под сводами альма-матер, не так. Или, может быть, мы не те? В самом деле, нечасто встретишь в студенческой среде человека одержимого, всецело поглощенного каким-то своим делом, идеей. Говорят, прежде они были. А теперь вот перевелись. И на вопрос: «Почему, зачем поступил в институт?» — все чаще слышишь нечто неопределенное...

Наталья Анисина, студентка

Ремарка социолога. «Случайной» в вузе является примерно половина состава студентов. Лишь 54 процента удовлетворены избранной специальностью. 35 процентов «подумывают» уйти из вуза.

то троцкизм в такой грубой, «азиатской» форме, которая, наверное, и не снилась никому из левой оппозиции 20-х годов. Как совершенно справедливо отмечал В. Данилов, «не станем отнимать у Сталина и его группы право на авторство насильственной экспроприации в отношении крестьянских масс»¹⁰. Добавим от себя — и на все другое.

Бюрократия и рынок

«Не дано нам историей тише идти!» — доказывал В. Куйбышев, архитектор первых пятилеток, страстно борющийся за ускорение развития тяжелой промышленности на постах председателя ВСНХ и Госплана в 1926—1935 годах. Это предчувствие войны, постоянное ощущение развития под дамочным мечом внешней угрозы пронизывало тогда все общественное сознание снизу доверху.

Сейчас, наверное, бесполезно спорить, насколько обоснованными были в те годы предсказания о скорой неизбежной войне. Однако не следует обманывать самих себя: главное заключалось все-таки не в этом, особенно в 1929 году. Так вопрос тогда не стоял — Гитлером тогда еще не пахло. Угроза войны была только предлогом, хотя и предлогом, находившим в людских душах вполне естественный отклик. И если бы такой угрозы в действительности не было, ее бы наверняка выдумали, как выдумали, например, в 60-е годы в Китае, которому никто не угрожал. Свертывание нэпа только оправдывалось необходимостью быстрой индустриализации в преддверии надвигающейся войны, но на деле, в жизни было вызвано совсем иными причинами. Решения о форсировании хлебозаготовок внеэкономическими методами, об отказе от хозрасчета, о ликвидации валютного рынка и т. д. принимались в те годы отнюдь не потому, что кто-то предвидел необходимость создания второй металлургической базы на Урале, без которой мы бы не встали во второй мировой войне.

Смена хозрасчетной экономики командно-административной объяснялась не внешними, а внутренними причинами. За свертыванием нэпа стояли влиятельные социальные

силы именно внутри страны, а не за ее пределами. И главной такой силой был бюрократический аппарат, узкая, но постоянно расширявшая свою власть прослойка высших чиновников-совслужащих.

Очень эффективная и динамичная, бившая все рекорды по темпам роста, полная сил и энергии социалистическая рыночная экономика оказалась фактически беззащитной перед экспансией ведомственного регулирования. Административная система не свалилась с неба как снег на голову, не была лишь плодом злого умысла отдельных людей. Она вызревала в недрах политической надстройки, венчавшей нэповскую рыночную экономику, она явилась логическим следствием развития бюрократического аппарата при отсутствии действенного контроля снизу. Рыночная экономика 20-х годов, обнаруживавшая такие способности к росту, которые никогда не возникали в административной системе даже в лучшие периоды ее истории, экономика, доказавшая всему миру возможность стремительного хозяйственного прогресса в обществе, построенном на коллективистских началах, — эта социалистическая по своей природе экономика была враждебна бюрократической машине. И она была побеждена этой машиной, не встретившей на своем пути достаточно сопротивления.

Уже вскоре после революции обнаружилось, что прослойка чиновников-совслужащих обладает собственными, далеко идущими интересами, в том числе и экономическими, отличными от интересов рабочего класса и крестьянства и нередко даже прямо противоположными им. Аппарат, призванный только исполнять волю трудящихся, на деле стал жить по своим законам, проявляя растущее стремление к узурпации власти, к подчинению себе всей политической и экономической жизни страны. В период «военного коммунизма» эта имманентно присущая аппарату тяга к разрастанию и расширению своего влияния в известной мере ограничивалась постоянно существовавшей опасностью военного поражения, чреватого для бюрократии потерей вообще всей власти. Аппарат был вынужден как-то себя сдерживать, отклоняться порой от принципов бюрократического регулирования в ин-

тересах дела, поступаться своими текущими интересами во имя сохранения главного. После победы в гражданской войне аппарат, в общем недовольный нэпом, ограничивавшим его бюрократические полномочия, все же принял его как объективную необходимость, ибо антоновщина и кронштадтский мятеж наглядно показали, во что может обойтись упорная приверженность командным методам управления. Но далее, в период нэпа, аппарат постоянно укреплялся и расширял свое влияние. Свертывание нэпа стало, по существу, победой аппарата над народным государством, над властью рабочих и крестьян, бюрократическим перерождением, от которого предостерегал Ленин задолго до этого.

До революции в теоретических построениях классиков марксизма будущее государственного аппарата рисовалось довольно определенным: берущий власть рабочий класс ломает буржуазную государственную машину, заменяя ее новым управленческим аппаратом. Две простые меры должны были гарантировать новый аппарат от бюрократического перерождения. «Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалования к обычной «заработной плате рабочего», — писал Ленин за два месяца до революции, — эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму»¹¹. Эти меры наряду с повышением культуры населения до такого уровня, который позволил бы каждому участвовать в управлении государством, должны были, по мысли Ленина, послужить основой отмирания всякого бюрократизма.

Жизнь, однако, оказалась сложнее. Простые меры не сработали. В полуграмотной крестьянской стране введенная всеобщая выборность всех должностных лиц снизу доверху не смогла стать гарантией от бюрократизации. Столоначальники, большие и маленькие, жалование которых действительно установили после революции на уровне зарплаты среднего рабо-

¹⁰ Правда, 26.08.1988.

¹¹ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 44.

чего, изыскивали многочисленные способы увеличения своих реальных доходов путем использования служебного положения. Не так просто оказалось дело и с политической культурой населения, умением и привычкой участвовать в общественных делах, способностью простых людей видеть связь между конкретными каждодневными заботами и общей политической ситуацией, между правительственной политикой и ее отдаленными последствиями. Для создания такой культуры в стране со слабым развитием элементарных демократических навыков и привычек (где только в 1917 году прошли первые по-настоящему свободные выборы) требовалась целая историческая эпоха. А без такой политической цивилизованности демократия превращалась в фикцию, вырождавшаяся.

К борьбе с «бюрократическим извращением советской организации» Ленин призывает уже в апреле 1918 года, то есть менее чем через полгода после того, как такая организация возникла. После перехода к нэпу данная тема занимает все большее и большее место в ленинских работах, — его тревога и обеспокоенность обюрокративанием власти нарастают буквально день ото дня. Очень часто, пишет Ленин, аппарат работает «не для нас, а против нас». «Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте «ведомств», — констатирует он. — Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все»¹². Опасность, исходящая от бюрократии, расценивается Лениным как смертельная для социализма: «Без «аппарата» мы бы давно погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы погибнем до создания базы социализма»¹³. В одной из последних работ — «О кооперации» — Ленин называет две главные задачи, каждая из которых составляет эпоху. Первая — переделка аппарата, вторая — кооперация. При условии успеха на этих двух направлениях, пишет он, мы бы уже стояли двумя ногами на социалистической почве. Самая последняя работа — «Лучше меньше, да

лучше» — опять-таки посвящена перестройке госаппарата: Ленин предлагает объединить наркомат рабоче-крестьянской инспекции, занимавшейся как раз борьбой с бюрократизмом в советских учреждениях, с Центральной комиссией — органом внутриведомственного контроля, рассчитывая, вероятно, таким образом предотвратить бюрократизацию партийного аппарата. Но это не было сделано ни до, ни после смерти Ленина.

Впрочем, даже осуществление этого плана вряд ли могло, наверное, что-то изменить. Политическая надстройка в целом явно не соответствовала рыночному экономическому базису. Однопартийная система с жестким контролем над советскими, профсоюзными и другими организациями, над средствами массовой информации, судами, церковью не обеспечивала свободного волеизъявления для большинства населения, зато давала в руки бюрократии необходимые для захвата всей полноты власти рычаги, которыми она не преминула воспользоваться.

Сначала непосредственных производителей лишили права самостоятельно устанавливать цены, а затем — и права самостоятельно определять объем и номенклатуру производства. Фактически это означало, что производители в ходе свертывания нэпа были лишены прав собственности — прав владения, пользования и распоряжения своими средствами производства. Собственность из коллективной и частной превратилась в ведомственно-бюрократическую, а реальная хозяйственная власть перешла к партийным органам, наркоматам, ведомствам, которые стали разверстывать планы и фонды по отраслям, регионам и предприятиям.

Именно этот вопрос о власти был коренным вопросом переходного периода. Двоевластие периода нэпа, то есть политическая власть у аппарата, а хозяйственная — у непосредственных производителей (трестов, синдикатов, кооперативов, единоличников), завершилось победой аппарата. Само же свертывание нэпа было не ошибкой отдельных лидеров и даже не ошибкой большинства. Это был переворот, «революция сверху», совершенная узкой бюрократической прослойкой против большинства населения, против непосредственных про-

изводителей — рабочих, крестьян, интеллигенции.

И большинство населения отнюдь не заблуждалось тогда насчет истинных своих интересов. Это большинство, причем абсолютное большинство, было решительно против «великого перелома».

Стомиллионное крестьянство в массе своей не приняло коллективизацию. Оно лишь вынужденно подчинилось ей. Как мог крестьянин, получивший в 1917—1918 годах землю, освобожденный в 1921 году от разверстки и поднявший свое хозяйство за 8 лет нэпа так, что в среднем производил на целую четверть больше продукции, чем в урожайном 1913 году, — как мог этот крестьянин примириться с тем, что у него отняли все — и землю, и скот, и инвентарь? Разве можно сказать, что деревня приняла коллективизацию, если от половины до $\frac{2}{3}$ дворов вырезало свой скот, даже лошадей, чтобы только не сдавать их в колхозы? Наконец, разве около двух тысяч крестьянских восстаний только за январь — март 1930 года — это свидетельство того, что крестьянин примирился с колхозом? Или таким свидетельством является сокращение уровня коллективизации с 50 до 21 процента всех хозяйств только за март — август 1930 года?¹⁴

И ссылаясь на то, что в российском крестьянстве-де сильны были общинные настроения, в данном случае просто не относятся к делу. Община — это одно, а колхоз начала 30-х годов нынешнего столетия — совершенно другое. «Патриархальный» русский крестьянин ко времени революции уже более полувек пользовался личной свободой; более трети крестьянских хозяйств Европейской России уже находились вне общины, а те хозяйства, которые в ней оставались, имели собственный надел, скот, инвентарь. Все это допускалось предреволюционной частно-общинной системой землепользования, но все это пропало в одночасье с образованием колхозов и фактическим прикреплением крестьян к земле. Принять добровольно без сопротивления такой разгром мог только безумец. Крестьяне в массе своей и не приняли его — даже неполная информация о тех событиях по-

Окончание на стр. 62

¹² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 250, 290; т. 44, с. 369.

¹³ Там же, т. 43, с. 381.

¹⁴ Правда, 26.08.1988.



можно считать этот вывод историческим фактом.

Сопротивление крестьян коллективизации фактически поставило страну на грань гражданской войны. «Расплачиваться «атакующему классу» приходилось не только жизнями комиссаров, чекистов, комбедовцев, «двадцатитысячников», — писала в известной статье Н. Андреева, — но и первых трактористов, селькоров, девочек учительниц, сельских комсомольцев...» Все верно, но надо сделать по меньшей мере два уточнения. Во-первых, «обороняющийся класс», в данном случае крестьянство, несравненно большие потери: тысячи подавленных крестьянских восстаний, более 10 миллионов раскулаченных, миллионы спецпереселенцев и увенчавший коллективизацию страшный голод 1933 года — этим расплатилась за наступление «атакующего класса» деревня. Во-вторых, «атаковал» в ходе коллективизации совсем не тот класс, о котором писал Маяковский, не рабочий класс, а бюрократия. Рабочие ничего не получили от коллективизации, кроме карточного снабжения и мобилизации в заградительные отряды.

Более того, происходило и прямое наступление бюрократии на завоевания рабочего класса. Жизненный уровень его резко снизился. В ходе свертывания нэпа в промышленности рабочим пришлось поступиться многими своими правами: введение планов для трестов, ужесточение трудовой дисциплины,

ограничение прав производственных коллективов и профсоюзов, переход к прямому установлению зарплаты «сверху» вместо прежней практики ее регулирования с помощью коллективных договоров, — все эти меры, начавшие осуществляться с конца 20-х годов, означали свертывание хозяйственной демократии. Фабричные и заводские комитеты, обладавшие столь значительным влиянием в 20-е годы, что в ходу даже был термин «двоевластие» (администрация — профсоюз), к началу 30-х годов потеряли всю свою самостоятельность. Профсоюзное руководство полностью сменили, а сами профсоюзы превратили, по сути дела, в придаток разраставшегося бюрократического аппарата.

Это — малоизвестная страница нашей истории. Обычно считается, что в отличие от крестьян и интеллигенции рабочий класс не подвергся репрессиям. На самом же деле репрессии были, и начались они еще в конце 20-х годов, когда ликвидировались независимые профсоюзы. О репрессиях же против интеллигенции и говорить нечего.

Короче, атаковала, наступала именно бюрократия, наступала решительно и на всех фронтах — и против крестьянства, и против рабочих, и против интеллигенции. В самой «наступающей армии» тоже практиковались репрессии, часто — «профилактические», так сказать, для поддержания порядка. Однако в целом как класс бюрократия явно выигрывала и в конце концов выиграла битву: в ее руках оказалась вся полнота власти, а также сопутствующие ей материальные привилегии. Но главное, конечно, именно власть.

И сегодня еще нередко приходится слышать мнение, что свертывание нэпа и переход к жесткой централизации хозяйства можно было осуществить бескровно, что репрессии никак не связаны с чисто экономическими переменами конца 20-х — начала 30-х годов, а объясняются лишь злоупотреблением властью. Это в лучшем случае — успокоительный самообман, по крайней мере если говорить о репрессиях именно того периода, то есть периода первой пятилетки. Обтекаемый термин «жесткая централизация хозяйства» не фиксирует в данном случае главного, а именно — социального содержания всего процесса, политического

смысла «великого перелома». А смысл состоял как раз в перераспределении власти в пользу бюрократии за счет трудящихся. Централизация осуществлялась вопреки интересам подавляющего большинства населения, вопреки потребностям экономического развития, вопреки национальным приоритетам страны. И сопротивление централизации было закономерным, так же как и закономерным было использование репрессий для подавления этого сопротивления.

Сказанное не относится, разумеется, к репрессиям 1937—1938 годов и позднейшего времени. Тогда административно-бюрократическая система уже утвердилась, оппозиция во всех слоях населения была в основном разгромлена, и тогдашние масштабные и особенно изощренные репрессии уже не только не были необходимыми захватившей власть бюрократии, но порой и прямо вредили ей. Здесь вступила в силу порочная логика развития бюрократического организма, начинающего выдумывать «оппозиционные» блоки и «заговоры» после того, как реальные силы, противостоящие режиму, уже уничтожены. Распространив свою власть на всю страну, аппарат стал пожирать сам себя. Неумная жажда власти, имманентное стремление к расширению своего влияния во что бы то ни стало даже тогда, когда расширять его было уже вроде бы и некуда, часто толкали бюрократию на путь парадоксальных эксцессов, на то, чтобы фактически рубить сук, на котором она сидела. Лишь в критических ситуациях, когда сук был готов вот-вот обломиться, наступало некоторое отрезвление, и верх брал, если можно так выразиться, здравый смысл в его бюрократическом понимании.

Примеров, подтверждающих это, сколько угодно. Можно вспомнить, как Сталин, физически не переносивший социал-демократов, почитавший их за «социал-фашистов» и заставлявший Коминтерн бороться с ними за лидерство в рабочем движении всеми доступными средствами, к середине 30-х годов, поняв наконец, что укрепление фашизма создает реальную угрозу, нет, не всему человечеству (это бюрократию не интересовало), а возглавляемому им режиму, в 1935 году на VII конгрессе Коминтерна одобрил все-таки, хотя и с опозданием, курс на создание ши-

роких антифашистских коалиций, вклякующих и социалистов. Как позднее в рамках этого курса была оказана поддержка республиканскому правительству в Испании и буржуазному гоминдановскому правительству в Китае. Можно также сказать и о том, как в критический период войны, когда немцы стояли под Москвой, из лагерей в действующую армию возвращались репрессированные военачальники. Или о том, как была во время войны децентрализована хозяйственная система — исключительный случай в мировой истории! Ибо столь дорогая сердцу бюрократу, но крайне неэффективная жесткая централизация не позволяла наращивать производство вооружений быстрыми темпами.

Но, думается, нет нужды множить примеры, чтобы сделать простой вывод: внутренней пружиной становления и развития административной системы является стремление бюрократии к установлению режима неограниченной власти, к всемерному расширению этой власти, даже если это противоречит элементарным требованиям хозяйственной целесообразности и жизненным интересам трудящихся. Только в критических ситуациях, угрожающих самому существованию системы, бюрократия, преодолевая себя, обнаруживает готовность поступаться малой долей своей власти — не столько в интересах дела, как это порой выглядит со стороны, сколько в целях долгосрочного упреждения своего господства.

Об исторической альтернативе и упущенных возможностях

Так все-таки — была ли реальная альтернатива свертыванию нэпа? Неразвитость демократии, низкий уровень политической культуры населения, слабость механизмов, призванных обеспечить подчинение бюрократического аппарата подлинным интересам трудящихся, — все эти факторы, сыгравшие тогда роковую роль в судьбе нэпа, были объективной реальностью, имели солидные исторические основания, корни которых уходили в глубину веков. Разве могло сложиться в такой ситуации что-то иное, отличное от командно-административной системы?

Сделаем еще одно — на этот раз последнее — отступление, прежде чем дать ответ на этот, главный, вопрос. Попробуем уточнить, что же следует считать альтернативным вариантом развития, что является необходимым, а что — случайным в историческом процессе. Думается, в таких вещах без помощи философии не обойтись.

Если следовать важнейшему материалистическому тезису об объективном и всеобщем характере причинности (каждое явление имеет свою причину, существующую вне и независимо от сознания), то надо признать, что необходимыми, строго говоря, оказываются все явления, ибо каждое из них обусловлено каким-то уникальным стечением причин, каждая из которых, в свою очередь, имеет свою причину, и т. д. Случайностью в таком контексте иногда предлагают называть еще не познанныю, не изученную причину, то есть не известную нам необходимость: по мере расширения нашего знания об обществе, в котором мы живем, по мере раскрытия причинной связи явлений события, казавшиеся прежде случайными, получают точные объяснения и расцениваются уже как необходимые.

Но есть и другое толкование этих философских понятий, и, по нашему мнению, оно более отвечает задачам настоящего анализа. Случайностью называется такое событие, которое не является необходимым в рамках данной системы при нормальном свободном ее развитии, а происходит потому, что данная система взаимодействует, пересекается с другой. При альтернативном варианте развития (если системы не взаимодействуют или взаимодействуют по-другому) такое случайное событие не может и не должно наступить. Скажем, если динозавры действительно вымерли от изменения климата вследствие столкновения Земли с каким-то космическим телом (как утверждает одна из гипотез), то это именно случайность, порожденная взаимодействием двух систем — астрономического движения космических объектов и биологического развития живой природы. Если бы такого пересечения систем тогда не произошло, если бы метеорит и наша планета разминувшись в космическом пространстве, возможен был бы альтернативный вариант развития земной фауны — не исключено,

что динозавры как биологический вид здравствовали бы и до сих пор.

Так же и с развитием общества. Здесь взаимодействует множество систем: экономика, политика, сознание, психология, культура, традиции разных социальных слоев. Каждая из этих систем имеет свои, во многом автономные внутренние пружины развития, а варианты взаимодействия этих систем бесконечно разнообразны.

Если рассматривать цепь событий 20—30-х годов в нашей стране в таком ключе, в рамках такого понимания исторической необходимости, надо признать, что свертывание нэпа отнюдь не являлось неотвратимым, предрешенным и неизбежным. Наоборот, это была случайность — воплощение в жизнь такого варианта развития, который, наверное, в то время, вплоть до середины 20-х годов, был едва ли не самым маловероятным из всех возможных.

Социалистическое рыночное хозяйство времен нэпа требовало адекватной себе демократической политико-правовой структуры, адекватного типа политического сознания — плюрализма мнений, свободы печати, широкого участия всех и каждого в государственных делах. Но благодаря довольно редкому в истории стечению многих обстоятельств, благодаря в буквальном смысле этого слова игре случая все сложилось не в соответствии с закономерностями экономического развития, а вопреки им. Нормальное, естественное развитие социалистической рыночной экономики было прервано и обращено вспять вмешательством чужеродных факторов из сферы политики и общественного сознания. Это было, во-первых, нежелание правительства породить после гражданской войны демократические институты и, во-вторых, снижение политической активности народных масс. Причем (что особенно важно) появление этих факторов, с точки зрения логики развития самой политической надстройки и самого общественного сознания, нельзя считать абсолютно закономерным и необходимым.

С общественным политическим сознанием в то время дело обстояло отнюдь не так плохо, как принято считать. Верно, что здесь особенно ощущался груз вековой отсталости, неграмотности, отсутствия элементарных демократических навыков.

Но верно и другое: ни одна другая страна не пережила в первые два десятилетия XX века трех революций, каждый месяц которых равнялся, как писал Ленин, — «в смысле обучения основам политической науки — и масс и вождей, и классов и партий — году «мирного» «конституционного» развития»¹⁵. А 1917 год по степени реальной демократизации общественной жизни, вовлеченности самых широких слоев населения в грандиозные социальные преобразования вообще нельзя сравнить ни с одним другим периодом отечественной истории. Февральская и Октябрьская революции всколыхнули огромные массы людей, втянули их в политическую борьбу, сделали активными участниками исторического процесса и действительными хозяевами своей судьбы. Повсеместно развивалось самоуправление. Выборные органы — Советы рабочих и крестьянских депутатов — взяли в свои руки реальную власть в центре и на местах. Застой и сползание в пропасть при агонизировавшем царском режиме сменились приливом энтузиазма и созидательной энергии.

Гражданская война и политика «военного коммунизма» вызвали естественный в подобных чрезвычайных условиях спад демократической активности. Но после того, как напряжение ослабло и был осуществлен поворот к нэпу, к нормальной хозяйственной жизни, существовали уже все условия для возрождения прежних традиций полноценного участия широких масс в общественных делах. И то, что эти традиции в значительной своей части были тогда преданы забвению, не восстановились в полном объеме, выглядит в этом контексте как историческая случайность, аномалия, нарушение логики поступательного развития, противостественный прерыв постепенности, вызванный привходящими, в основе своей не необходимыми обстоятельствами. Речь идет, конечно, о том, что политический механизм предельной централизации власти, вызванный к жизни чрезвычайными условиями гражданской войны, после ее завершения не был подвергнут серьезной перестройке, но в основе своей так и остался жесткой однопартийной диктатурой. Радикальнейшие изменения в экономике —

новая экономическая политика — не были подкреплены столь же радикальными изменениями в политике, хотя традиции, опыт недавнего прошлого толкали страну по пути именно такого развития событий.

Политическая система, сложившаяся в период нэпа, была явным шагом назад не только в сравнении с 1917 годом, когда демократизация всей общественной жизни достигла пика, но и — по многим позициям — даже в сравнении с предреволюционным периодом, с теми демократическими завоеваниями, которые были вырваны у самодержавия в ходе революции 1905—1907 годов. Все оппозиционные партии к началу 20-х годов прекратили существование. Советы, бывшие до Октября «силой без власти», во время нэпа фактически превратились во «власть без силы», ибо все важнейшие вопросы и в центре и на местах решались партийными органами, и только ими. После того как партия стала действовать в легальных условиях, да еще превратилась в правящую, должна была бы, по идее, получить развитие внутрипартийная демократия. Но и этого, к сожалению, не произошло. Возвышение бюрократии и захват ею власти, сначала политической, а потом и хозяйственной, стали в такой недемократической обстановке вопросом времени.

А ведь все могло сложиться иначе! Больше того — все шло к тому, чтобы сложиться иначе. В 1922 году, когда нэп стал приносить желанные плоды, народное хозяйство восстанавливалось, смычка города и деревни, рабочего класса и крестьянства крепла, антоновщина и Кронштадт остались позади и авторитет большевиков был высок как никогда, Ленин, между прочим, думал о возможности легализации меньшевиков, понимая, видимо, чем может обернуться монопольное право партии на власть. Это соответствовало прошлым демократическим традициям, соответствовало логике развития российских политических структур, наконец, соответствовало введенным тогда масштабным экономическим преобразованиям. Но государственная власть в данном случае действовала вопреки всем этим императивам: ей удалось преодолеть демократические традиции, повернуть вспять процесс развития политической системы и в конце концов раздавить

социалистическую рыночную экономику. После смерти Ленина ни один из тогдашних лидеров вопрос о радикальной реформе политической системы всерьез не ставил, хотя и во второй половине 20-х годов было, вероятно, еще не поздно остановить посредством последовательной демократизации развивавшуюся пружину аппаратно-ведомственной экспансии.

Тогда мы стояли на развилке дорог. В истории наций и государств, как и в жизни отдельных людей, такие развилки не редкость. Часто один путь мало отличается от других, но иногда различия оказываются огромными, и выбор пути предопределяет исторические судьбы народа на многие годы. Такой ключевой развилкой в политике, вне всякого сомнения, был период нэпа, особенно его первые годы. Если бы мы тогда не остановились только на экономических реформах, а пошли бы дальше, по пути демократических политических преобразований, если бы тот высокий уровень демократизации всей общественной жизни, на который вывел страну 1917 год, даже не повышался далее, а был хотя бы только восстановлен в полном объеме после вынужденной диктатуры «военного коммунизма», — убеждены, никогда бюрократический аппарат не смог бы захватить власть и свернуть нэп.

Огромное значение имеют, конечно, отдельные личности. Проживи Ленин еще 20 лет, и никакого свертывания нэпа, принудительной коллективизации, депрессий не было бы — таков еще один распространенный довод в пользу наличия альтернативного пути развития. Что же, вероятно, оно так и есть: даже при недемократической политической системе только одного авторитета Ленина, вероятно, хватило бы, чтобы заблокировать экспансионистские устремления бюрократического аппарата. И, кстати сказать, то, что болезнь лишила Ленина работоспособности именно в начале 1923 года, уж никак нельзя назвать исторической необходимостью.

Важнейшее значение имел, несомненно, и состав партийных кадров, настроения в правящей партии. О. Лацис справедливо обращает внимание на резкий рост численности членов партии в 1924—1927 годах (с 350 тыс. до 1,2 млн. человек, более, чем в 3 раза всего за

¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 9.

4 года) за счет притока новых членов с минимальным политическим опытом и теоретическим багажом. Молодое, незрелое пополнение к концу 20-х годов с лихвой перевесило партийцев с подпольным стажем, что и позволило Сталину получить поддержку большинства партии и направить затем репрессии против меньшинства¹⁶.

Но в данном случае речь даже не об этом — не о личностях и не о составе партийных кадров. При развитой системе демократического контроля над партийными и правительственными органами Сталин и его ближайшее окружение никогда не сумели бы привести бюрократию к абсолютной власти. Был бы Сталин, не было бы Сталина, была бы у него поддержка партии или нет, но при демократической политической системе, при реальной власти Советов чрезвычайное управление и репрессии оказались бы не то что не необходимыми, но и просто невозможными.

Попробуем теперь помечтать и хотя бы в общих чертах представить себе, куда вела та, другая дорога, с которой мы свернули в 20-е годы. По некоторым оценкам, в реальности к концу 30-х годов мы несколько опережали Германию по величине национального дохода, отставая при этом примерно вдвое по объему промышленного производства. Еще и в 1950 году объем промышленного производства у нас был несколько ниже, чем даже в ФРГ, а не во всей Германии¹⁷. При сохранении же изпа и его средних темпов развития индустрии советская промышленность к концу 30-х годов, как минимум, превзошла бы немецкую по объему производства, в том числе и по объему производства военного.

Представим себе, что не было нелепой сталинской установки на борьбу с социал-демократией, «как с опорой нынешней фашистской власти», установки, принимавшейся Коминтерном как руководство к действию в период до 1935 года и после 1939 года (после пакта о ненападении с Германией). Возможно, преувеличение говорить, что эта установка, расколотившая рабочее движение на Западе, привела фашистов к

власти в Германии, как это, похоже, утверждается в недавно опубликованном письме Э. Генри к И. Эренбургу¹⁸. Но то, что такая политика облегчила усиление фашизма в мире, — бесспорно.

Представим далее, что не было бы бессмысленных чудовищных репрессий в стране. Предположим, что не было бы безумного истребления кадров Красной Армии, так что после такого истребления дивизиями стали командовать даже капитаны. Допустим, что Тухачевский, Уборевич, Якир и другие, отстаивавшие концепцию ускоренного развития танковых соединений, не оказались бы «врагами народа», а сама концепция не была бы расценена как вредительство; что Ворошилов не расформировал бы воздушно-десантные войска, поразившие иностранных наблюдателей на украинских маневрах 1935 года; что наша авиация и авиапромышленность не испытали бы на себе всю разрушительную силу бессмысленного сталинского террора.

К концу 30-х годов мы имели бы тогда на политической карте, с одной стороны, куда более мощный как в экономическом, так и в военном отношении Советский Союз, по меньшей мере не уступающий по своему военно-экономическому потенциалу Германии, а с другой — более слабый, чем это было в действительности, фашистский блок. Как бы тогда развивались события в августе — сентябре 1939 года, сказать, конечно, трудно. Англия и Франция явно вели двойную игру, потворствуя Гитлеру в надежде направить его основной удар на Восток, — отказ от серьезной помощи Испании, ставшей одной из первых жертв фашистской агрессии, и Мюнхенское соглашение навсегда останутся на их совести. Но ведь и Гитлер делал выбор, стараясь вначале расправиться с самыми слабыми противниками, оставляя более сильных на потом. Сначала это была Чехословакия, за ней Польша, в мае 1940 года в соответствии с этим принципом в качестве объекта агрессии была избрана Франция (производившая тогда почти вдвое меньше промышленной продукции и вчетверо меньше стали, чем Германия), в июне 1941 года — Советский Союз, но не Англия; в конце 30-х го-

¹⁸ Дружба народов, 1988, № 3, с. 234 — 235.

ЕСТЬ МНЕНИЕ



Что нового в Совете?

В последнее время часто приходится слышать: перестройка высшего образования, новые веяния... Хотелось бы все-таки разобраться, в чем эти веяния состоят. Признаки продвижения в сторону демократизации высшего образования есть. Вузы выбирают ректоров, деканов. Многие проблемы, решения по которым прежде принимались в Минвузе — и только там! — теперь Госкомитет по народному образованию отдал в руки ректоров. Говорят, там, в коридорах ректоратов, дышать стало полегче: не душат, как раньше, инструкциями, распоряжениями. Впрочем, эти заботы от нас далеки, не нашего ума дело. А к нам что «поближе»? Учеба, стипендия, общежитие. Свободное время. Стройотряд. «Картошка». «Военка» — в последнее время проблема, судя по ряду студенческих «забастовок», встала во весь рост. Вот в этих сферах жизни что переменялось?

Действует положение по самоуправлению. (Многие из нас понятия не имеют об этом постановлении: стипендию сами распределяем — и на том спасибо!) Можно высказать свое мнение о преподавателе. (Но где результаты анкетирования?) Наша «фракция» заседает в Совете вуза. Хотелось бы только видеть реальные результаты работы студенческих представителей. А мы порой просто не знаем: о чем на Совете шла речь.

Елена Хрусталева,
студентка

¹⁶ Лаврис О. Перелом. — Знамя, 1988, № 6.

¹⁷ Мировая экономика и международные отношения. 1987, № 11, с. 148, 151.

дов промышленность Англии производила почти столько же продукции, сколько германская (то есть почти вдвое больше, чем советская), ее отделила от континента труднопреодолимый Ла-Манш, и, кроме того, за ее спиной стояли США. Кто знает, если бы фашистской Германии противостоял более сильный Советский Союз, если бы финская война 1939—1940 годов не обнаружила для всего мира очевидной неподготовленности СССР к отражению агрессии, Гитлер, возможно, напал бы сначала на Англию. И тогда, возможно, советские техника и продовольствие поставались бы в Англию по ленд-лизу, а второй фронт был открыт не союзническими войсками в Нормандии, а советскими — в Польше.

Может быть, и наши союзники были бы в этом случае сговорчивее накануне самой войны, и литвиновская дипломатия, направленная на создание антигитлеровской коалиции с Англией, Францией и США, увенчалась бы успехом еще до августа 1939 года. При такой расстановке сил совместными усилиями мы смогли бы, вероятно, поставить эффективный заслон фашистской экспансии.

Что же дальше? А дальше снова быстрый экономический прогресс социалистической рыночной экономики, в ходе которого мы бы, как минимум, к настоящему времени догнали основные страны Запада по уровню хозяйственного развития, то есть по таким показателям, как производительность труда и доход на душу населения. По абсолютным экономическим показателям (объем национального дохода, промышленного производства и т. п.) мы бы, вероятно, существенно, в 1,5—2 раза опережали бы сейчас США, ибо население нашей страны на конец 80-х годов должно было бы составлять 400—500 миллионов человек (400 млн. — это при том крайнем предположении, что естественный прирост населения, составлявший в конце 20-х годов 2 процента, снизился бы затем до 1,5 процента). Иначе говоря, сегодня мы обладали бы крупнейшим в мире экономическим потенциалом, а не имели бы впереди себя 3 страны, а в перспективе близкой — и еще несколько государств.

После того как фашизм в конце 30-х — начале 40-х годов был бы повержен политически-

ми средствами или в результате непродолжительной войны, геополитическое равновесие, даже если бы Германия осталась нерасчлененной, конечно бы, изменилось. На место прежнего традиционного военно-политического баланса (Англия, Франция, Россия против Германии) неизбежно пришел бы новый, биполярный, основанный на соотношении сил СССР и США, Востока и Запада. Это наверняка случилось бы еще в 40-е годы, когда Советский Союз и Америка по размерам своей военно-экономической мощи оставили бы позади все остальные страны. И даже если бы взаимное недоверие толкнуло бы поначалу две сверхдержавы на путь гонки вооружений и «холодной войны», разрядка началась бы никак не позже 50-х годов, когда сложился бы военно-стратегический паритет (включая ядерное оружие). А он непременно бы сложился, ибо экономика СССР, не обремененная издержками и чудовищным наследием сталинской эпохи, росла бы в 2—3 раза быстрее, чем это в действительности было: так что уже к началу 50-х годов, коли была бы в этом нужда, мы могли бы иметь без надрыва, не жертвуя ради этого самым необходимым, нужное нам количество боеголовки и носителей.

И сегодня мы бы имели стабильный безопасный мир, свободный от ядерного оружия, или с небольшим контролируемым международными договоренностями его количеством. И мы имели бы высокоэффективную, конкурентоспособную экономику, интенсивно взаимодействующую с мировым хозяйством и играющую в нем подбащую нашим возможностям роль. А каким высоким мог бы быть авторитет нашей страны повсюду в мире, если бы реальный социализм в глазах международной общественности ассоциировался бы не с бедностью и подавлением политических свобод, а с благосостоянием и демократией! И если бы народы всей планеты убедились не в теории, а на практике, на нашем примере, в преимуществах социализма — общества, основанного на самоуправлении трудовых коллективов и достигнутого высшего расцвета демократизма.

Это — только некоторые из наших упущенных возможностей. Теперь мы уже никогда не узнаем *все* того, что было потеряно. Не узнаем неродив-

шихся гениев и не прочтем не написанных книг.

Храм несбывшихся возможностей, храм вечной памяти мученикам народа — такой была мечта Андрея Платонова. «И встанет к жизни, что должно быть, но не свершено, — писал он. — Творчество, работа, подвиги, любовь — вся картина жизни несбывшейся. И что было бы, если бы она сбылась... Великая картина жизни и погибших душ, возможностей... мир, каков бы он был при деятельности погибших, — лучший мир, чем действительный...» Есть только один способ воздвигнуть этот храм — вступить наконец на тот путь, с которого мы свернули тогда, шесть десятилетий назад, на развилке дорог. Сегодня у нас тоже есть выбор, и мы не должны упустить шанс. Лучше поздно, чем никогда.

Движение вперед неизбежно связано с переосмыслением пройденного пути, с переоценкой прошлого. Трудно, неизменно трудно признаться сейчас, что многие из потерь тех лет были напрасны, что можно было обойтись без голода и лишений, без сверхчеловеческого напряжения и беспределной самоотдачи. Ведь если оставить в стороне узкую бюрократическую прослойку, манипулировавшую национальным хозяйством и общественным сознанием в собственных узкокорыстных интересах, речь идет о миллионах людей, искренне, всей душой веривших в необходимость жертв и лишений, беспределно убежденных в своей исторической правоте. Это целые поколения, вынесшие на своих плечах все тяготы индустриализации и коллективизации, войны и послевоенного восстановления. Да, они не знали всей правды — не по своей вине. И кто сейчас решится упрекнуть их в политической незрелости и близорукости?

Но, как бы то ни было трудно, нам надо пройти и через это — через осознание того, что была альтернатива, был другой путь, не сопряженный с трагическими потерями и бесполезной растратой ресурсов, с подавлением стимулов к труду, подрывом моральных устоев, падением международного авторитета и дискредитацией социалистических идеалов. От того, насколько глубоко осознаем мы сегодня эти уроки нашей собственной истории, зависит в конечном счете успех начавшейся перестройки.